ЛЕЛЕВЕЛЬ

Стефан Кеневич

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга Стефана Кеневича «Брюссельский отшельник» уже дважды издавалась в Польше — в 1960 и 1964 годах. Однако русское издание биографии Иоахима Лелевеля является в определенном смысле первой публикацией: здесь впервые представлен весь жизненный путь выдающегося польского ученого, общественного и политического деятеля. Специально для настоящего издания написаны разделы биографии Лелевеля до 1831 года включительно. Предшествующие польские издания книги освещали лишь эмигрантский период жизни Лелевеля и начинались с раздела, который в этом издании является седьмым.

-
-
-
- От издательства
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- Основные даты жизни и деятельности Иоахима Лелевеля
- Краткая библиография
- notes
  - 1
  - 2

Жизнь замечательных людей

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М ГОРЬКИМ

ВЫПУСК 14
(490)

МОСКВА
1970

Стефан Кеневич

ЛЕЛЕВЕЛЬ

Перевод с польского
Ильи Миллера

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

От издательства

Автор этой книги Стефан Кеневич — действительный член Польской академии наук, председатель ее Комитета исторических наук, профессор Варшавского университета — один из крупнейших современных польских историков, превосходный знаток истории Польши XIX века. Библиография его трудов, открывающая сборник статей, изданный друзьями, коллегами, учениками ученого в честь его 60-летия («Wiek XIX», Warszawa 1967), насчитывает более 300 названий книг, статей, публикаций, источников и других работ, изданных Стефаном Кеневичем за 35 лет научной деятельности. Среди этих трудов мы находим — и это дает наилучшее представление о научных интересах Стефана Кеневича — II том академической «Истории Польши», посвященный столетию от 1764 по 1864 год. Значительная часть, по крайней мере одна треть, этого тома (следует отметить, что в натуре это четыре книги, насчитывающие свыше 120 печатных листов) написана самим профессором Кеневичем, весь том отредактирован им совместно с профессором Витольдом Кулей.

Диапазон научных интересов профессора Кеневича очень широк. Они охватывают разнообразные стороны жизни польского народа, перу Кеневича принадлежат исследования по социально-экономической истории, по международным отношениям, по проблемам развития национальной культуры, но самой значительной, центральной областью его исследовательской работы на протяжении многих лет является история революционного и национально-освободительного движения польского народа, история польской общественной мысли 30—60-х годов XIX столетия. Конспиративные организации 30-х и 40-х годов и среди них созданное Шимоном Конарским «Содружество польского народа», антипомещичье восстание 1846 года, революционные события 1848 года — все это проблематика, которой посвящены специальные труды Стефана Кеневича. И естественно, что в процессе создания каждой из этих работ, в каждой под несколько иным углом зрения, внимание автора привлекала одна из центральных фигур общественно-политической жизни польского народа в ту эпоху — Иоахим Лелевель.

Большое место в трудах профессора Кеневича занимает тема русско-польских революционных связей. И эта тема также не могла не напомнить о мыслителе, являвшемся провозвестником революционного союза наших народов, о том, кому традиция приписывает авторство прекрасного девиза, воодушевлявшего

целые поколения русских и польских революционеров: «За нашу и вашу свободу!»

К биографии Иоахима Лелевеля автор подошел, опираясь не только на немалые достижения польской историографии в области изучения истории науки и вклада самого Лелевеля, но и на многосторонние собственные исследования эпохи, в которой жил, трудился, боролся Иоахим Лелевель. Не возвеличивая своего героя, не скрывая и не затушевывая ни его слабостей, ни его странностей (а Иоахим Лелевель был весьма своеобразной фигурой), Кеневич показывает научный и общественный подвиг титана польской науки, патриарха польской демократии.

Несколько слов о настоящей книге. Книга Стефана Кеневича «Брюссельский отшельник» уже дважды издавалась в Польше — в 1960 и 1964 годах. Однако русское издание биографии Иоахима Лелевеля является в определенном смысле первой публикацией: здесь впервые представлен весь жизненный путь выдающегося польского ученого, общественного и политического деятеля. Специально для настоящего издания написаны разделы биографии Лелевеля до 1831 года включительно. Предшествующие польские издания книги освещали лишь эмигрантский период жизни Лелевеля и начинались с раздела, который в этом издании является седьмым.

1
Самоучка

В Варшаве, в Старом городе у угла Длугой улицы стоит небольшой каменный дом постройки XVIII века. Он удивительным образом сохранился среди разрушений, которому подверглась вся эта часть города во время второй мировой войны. На овальной таблице, которая уже более полувека назад укреплена на стене дома, написано, что именно в этом доме 22 марта 1786 года родился Иоахим Лелевель.

Дом принадлежал его отцу. Сюда Лелевель возвращался по окончании университета, из научных поездок, после оставления профессорской кафедры в Вильне. Здесь была написана немалая часть его трудов, и здесь ученого застало ноябрьское восстание. Отсюда после поражения восстания, в 1831 году Лелевель отправился в изгнание, которое продлилось 30 лет и из которого ему уже не суждено было возвратиться.

Иоахим Лелевель. Рис. С. Олещиньского.
1829 г., литогр. 1830 г.

Иоахим Лелевель был не только историком, к тому же величайшим польским историком того времени. Он был также ведущим идеологом, как его нередко называли, «патриархом» польской демократии. Он был и политическим деятелем польских левых сил; впрочем, уже не столь выдающимся и не слишком удачливым, но весьма активным на протяжении по крайней мере двадцати лет. Помимо всего, он был сильной, неповторимой индивидуальностью, человеком, который и в больших и в малых

делах избирал свой собственный путь: упрямый, обидчивый, самоуверенный, не считающийся ни с обвинениями врагов, ни с советами друзей, безразличный к тому, что все вокруг считают его чудаком. В собственное оправдание он привык говорить: «Индюк индюшек стаей водит, а лев лишь в одиночку ходит». Впрочем, в его характере было не так уж много ото льва, хотя другого такого любителя одиночества сыскать было нелегко.

Врагов у него было много, друзей же всего несколько. К числу его врагов принадлежали внимательно наблюдавшие за ним правительства и полиции трех держав Священного союза. Его врагами были также польские консерваторы, которые обвиняли его в подстрекательстве к кровавым социальным переворотам. С уважением и энтузиазмом относилась к Лелевелю патриотическая молодежь: сначала как к профессору, который открывал перед ней новые горизонты, позднее — как к великому изгнаннику и высшему авторитету в вопросах идеологии. Лелевеля чтили такие корифеи прогрессивной Европы, как генерал Лафайет и Джузеппе Мадзини, как Бакунин и Герцен. Известно, что его дружбу ценил Карл Маркс, внимательно изучавший его труды. Как историк и как политик Лелевель был представителем эпохи романтизма, эпохи, ознаменованной в Европе и в Польше борьбой с феодализмом, столкновением с первыми противоречиями капитализма и поисками на ощупь своего собственного революционного пути.

Лелевель обычно сам себя называл мазуром, то есть жителем окрестностей Варшавы. Происходил он из немецкой семьи, которая осела в Польше в начале XVIII века и успела полностью полонизироваться. Дед ученого Генрик был придворным врачом короля Августа III. Отец Кароль на протяжении более чем двадцати лет был главным казначеем Комиссии национальной эдукации, первого в Европе министерства просвещения, учреждения заслуги которого в развитии польской культуры исключительно велики. Кароль Лелевель получил от сейма подтверждение принадлежности к шляхетскому сословию: он женился на Еве Шелютте, происходящей из полонизированной белорусской шляхты. Кароль Лелевель приобрел на Подлясье небольшое имение; состояния, впрочем, он не сколотил. Некоторые из его детей выросли позднее в землевладельческую среду, но самый старший — Иоахим — остался интеллигентом, подобно отцу и деду, и на протяжении всей жизни добывал себе хлеб насущный собственным умственным трудом.

Ева Лелевель, урожденная Шелютта (1764—1837).

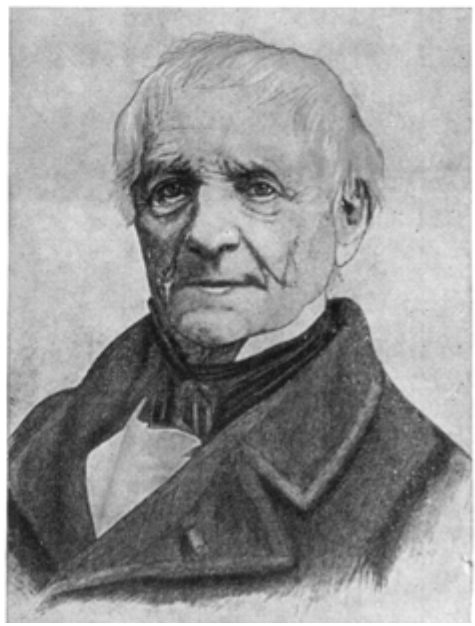
Ян Павел Лелевель (1796—1847). Миниатюра Я. Суходольского.

Его детство совпало с годами упадка шляхетской Речи Посполитой. Он был восьмилетним ребенком в 1794 году, когда плебс Варшавы поднялся на борьбу против царского гарнизона и против изменников-тарговичан. До конца жизни Лелевель вспоминал о том, как он бежал к окну при возгласе: «Дети! Едет начальник!» — и взволнованно смотрел на Тадеуша Костюшку,

национального вождя, одетого в мужицкую сермягу. За поражением восстания последовал третий раздел Польши. Этим не кончились военные и политические потрясения. Лелевелю было двадцать лет, когда в 1806 году на польские земли вступила «великая армия» Наполеона. Вся польская молодежь взялась тогда за оружие с мыслью воскресить родину под водительством императора французов. Два брата Иоахима служили в армии Варшавского княжества, он сам, однако, пошел иной, им самим избранной дорогой.

Его собственные позднейшие воспоминания о детстве, как и рассказы братьев, рисуют нам маленького Иоахима трудным, упрямым, замкнутым в себе ребенком. Его наказывали часто именно потому, что он не хотел себя вести, выражаться, учиться и играть так, как все другие дети. Он создавал себе свой собственный мир, отгораживаясь книжками от окружавшего его мира.

Кароль Лелевель
(1748—1830).



Прот Лелевель
(1790—1884).
Литогр. Регуского.

Его родители после падения Польши переселились в деревню, поэтому основы образования он получил дома. Собственно говоря, он уже тогда учился сам, а скорее накоплял знания, при этом сразу же с мыслью о собственном творчестве. Когда ему было десять лет, он взялся сам дополнять энциклопедию. На тринадцатом году жизни он составил на

основании нескольких хроник описание осады Пскова Стефаном Баторием в 1581–1582 годах. Пятнадцати лет он планировал написать историю Польши с обстоятельным описанием каждого воеводства. Уже тогда его увлекала география. Ежедневно до поздней ночи, напрягая зрение, он перерисовывал разные карты, какие ему попадали в руки, как современные, так и старые. Железной волей он понуждал себя к труду, его движущей силой была не только жажда знаний, но и огромное честолюбие. В 1801 году он поступил в школу пияров, одну из наилучших в Варшаве, располагавшую к тому же богатой научной библиотекой. Учеником он был, по его собственным словам, посредственным, он блеснул лишь на выпускном экзамене. Уже в это время он сам определил цель своей жизни — путь ученого.

В 1804 году он записался в Виленский университет, только что реорганизованный под покровительством Александра I. Царь в первые годы своего правления заботился о развитии науки, кроме того, он хотел привлечь к себе своих польских подданных. Личный друг царя польский магнат князь Адам Чарторыский был назначен попечителем Виленского учебного округа, охватывающего присоединенные к России восточные земли прежней Речи Посполитой. На этой территории развивалась теперь польская школа в соответствии с наилучшими образцами, разработанными в духе эпохи Просвещения Эдукационной комиссией. Эти школы должны были служить прежде всего высшим, полонизированным слоям этих земель — состоятельной и мелкой шляхте, а также мещанству. Пробуждение национального самосознания населявшего эти земли крестьянства — литовского, белорусского и украинского — было еще делом будущего.

Ректором Виленского университета был назначен Ян Снядецкий, знаменитый математик, проникнутый идеологией Просвещения, то есть рационализмом и антиклерикализмом, к тому же хороший организатор и человек независимых взглядов. Но гуманитарные науки Снядецкий не жаловал, а об истории был того мнения, «что это предмет, требующий только памяти и здравого смысла», уместный в средней школе, но не в университете. Поэтому его отнюдь не заботило замещение кафедры истории, когда старый профессор Гуссажевский вышел на пенсию.

Восемнадцатилетний Лелевель был принят в университет как степендиат, обязанный по окончании отслужить шесть лет учителем в Виленском учебном округе. Он сам составил себе учебный план, записавшись на лекции языков, литературы, права, а также геометрии, физики и рисования. Вскоре он

сосредоточился на филологии и нашел себе учителя. Им был профессор Эрнест Гродек. Это был полонизированный немец, большой эрудит и еще больший чудак. На его лекции ходило всего несколько слушателей, и среди них Лелевель. Между профессором и студентом сложились отношения, подобные отношению отца к сыну. От Гродка Лелевель перенял любовь к античным авторам, а затем к скандинавским и древнерусским, у которых он искал сведений о далеком прошлом.

Работая много и всегда самостоятельно, Лелевель оказался, однако, более или менее «нормальным» студентом. Он завел многочисленные знакомства — посещал салоны, охотно танцевал, сочинял стихи. Он был одним из организаторов студенческого Общества совершенствующейся молодежи, в которое входил узкий круг наиболее способных студентов. Общество ставило своей целью самоусовершенствование, формально оно считалось тайным, хотя университетские власти знали о нем и не возражали против его существования. Здесь Лелевель выступал с рефератами, при этом не только на исторические темы. В одном из них он утверждал, что охрана памятников старины должна служить национальным целям. «Наша родина лежит в могиле, мы… должны трудиться над тем, чтобы сбросить наваленный над нею холм и извлечь лежащий под ним пепел Феникса — нашего отечества». Эти слова звучат как дань растущим повсеместно патриотическим настроениям, ибо в то время Лелевель посвящал больше внимания делам учебы и науки, чем политики.

В 1807 году, в год Тильзитского мира, Лелевель издал в Вильне свою первую книжку — «Эдда, или Книга религии древних жителей Скандинавии». Это была компиляция, не имеющая существенной ценности, а книготорговец, который издал ее в 300 экземплярах, отдал весь тираж молодому автору, рекомендуя ему подготовить популярную историю Польши.

Вскоре Лелевель опубликовал вторую работу — «Взгляд на древнейший период народов Литвы и их связь с герулами». Он сразу же получил нагоняй от ректора Снядецкого за содержащуюся в этой работе полемику с наиболее знаменитым в то время польским историком Адамом Нарушевичем. Снядецкого возмущала в Лелевеле «неприличная смелость… неуместная для молодого человека нескромность». Вскоре после этого, в 1808 году Лелевель покинул Виленский университет после четырех лет учения. Он не сдавал никаких экзаменов и даже не постарался получить звание магистра.

Лелевель вернулся в Варшаву, которая уже полтора года была освобождена и являлась столицей небольшого государства — сателлита наполеоновской Франции — Варшавского княжества. В

Варшаве комплектовалась администрация, закладывался фундамент будущего университета. Лелевель искал какой-нибудь не слишком обременительной должности, которая обеспечила бы его материально, оставляя ему время на занятия в библиотеках. Однако эти поиски не дали результатов. Быть может, в княжестве не торопились предоставить должность молодому человеку, который, хотя и был варшавянином, не записался добровольцем в армию во время последней кампании. Между тем попечитель Виленского учебного округа князь Чарторыский напоминал Лелевелю, что как бывший стипендиат он должен теперь отработать положенный срок. В 1809 году Лелевель получил направление в Кременец.

В этом живописном волынском городке уже несколько лет существовал лицей, то есть средняя школа повышенного типа с дифференцированным курсом обучения в высших классах. Основателем и душой лицея был Тадеуш Чацкий, просвещенный магнат, эрудит и коллекционер, автор трактата «О литовских и польских законах». Лелевель надеялся, что Чацкий разрешит ему пользование своей библиотекой и коллекциями, что он поручит ему преподавание истории в лицее. Не тут-то было: Чацкий смотрел свысока на молоденького историка, советовал ему пополнять образование, указывал литературу, подсказывал темы исследования. Но Лелевель не допускал и мысли о том, чтобы продолжать свои занятия под чьим-либо руководством. Самому Чарторыскому, который рекомендовал ему заниматься новейшей историей, он ответил строптиво, что более важным считает изучение «возникновения народов».

Находясь почти год без занятий, Лелевель просуществовал лишь благодаря денежной помощи дяди — епископа Цецишовского. Оставленный без поручений Лелевель вел светский образ жизни, развлекался, даже флиртовал, хотя биографы расходятся во мнениях относительно того, какая из кременецких барышень его привлекала.

В конце концов Чацкий поручил Лелевелю преподавание географии древнего мира. Эти занятия посещали всего четыре слушателя. Что особенно важно, Чацкий открыл Лелевелю доступ к своим богатым коллекциям, в частности нумизматическим, изучению которых Лелевель предался с энтузиазмом. Однако в 1811 году он вернулся в Варшаву, где благодаря хлопотам отца получил скромную должность в министерстве внутренних дел. Но он не выдержал долго в канцелярии, которая возбуждала в нем «отвращение и омерзение». Он снова проводил время в библиотеках, а затем перебрался в деревню к родителям и писал одну научную работу за другой.

Наступил 1812 год. Много лет спустя ученик Лелевеля Адам Мицкевич воспевал эту «цветущую надеждами» весну. Непобедимый доселе Наполеон начал кампанию против России. Над Неманом было собрано полмиллиона солдат, почти сто тысяч поляков участвовало в этом походе. Никто не сомневался в победе Наполеона. Лелевель между тем не двинулся из дому. На склоне лет он записал: «Равнодушно взирая на отступление от Березины, я всю зиму отдыхал, занимаясь лишь рисованием и работая в мастерской».

Адам Мицкевич.
Рис. В. Ваньковича 1823 г.

Внутренний дворик
Виленского университета.
Рис. 1857 г.

Что было причиной этого равнодушия? То ли что Лелевель, закоренелый штатский, был глух к воинской славе, то ли что ему был несимпатичен сам Наполеон, завоеватель и тиран? У нас нет для ответа на этот вопрос свидетельства самого Лелевеля, относящегося к тому времени. Мы можем принять любое толкование: либо то, что «книжный червь», погруженный в этот

момент в проблематику XII века, не интересовался катаклизмами, которые переживала в это время Европа, либо то, что будущий идеолог польской демократии отвергал мысль о восстановлении Польши под покровительством корсиканского тирана. Нам больше по вкусу вторая гипотеза, но пока она остается лишь гипотезой.

В 1811 году Лелевель опубликовал «Заметки о Матеуше герба Холева», анализ одной из польских хроник XII века. Концепция книжки вплоть до имени автора хроники впоследствии оказалась ошибочной. Но новаторской была решительная критика легенд, относящихся к так называемым сказочным временам. Уже Нарушевич, писавший в конце XVIII века, сомневался в них, но по традиции повторял их в своей «Истории польского народа». Лишь Лелевель отверг эти анекдоты, появившиеся и записанные много столетий позже тех времен, к которым они относились.

Молодой ученый работал много над историей Польши и всеобщей историей от древнейших времен до новейшего времени. Он работал также над теорией или методологией истории и уже в 1809 году написал первый ее очерк — «Наука истории», который показывал немногочисленным друзьям. Этот очерк, многократно дополнявшийся и перерабатывавшийся на протяжении последующего десятка лет, определял, что такое история и чем должен заниматься историк. Все тогдашние научные исследования Лелевеля были призваны реализовать программу, начертанную в этом руководящем труде.

Но пока он оставался еще в рукописи. Путь Лелевеля к читателю был не легок. В 1814 году он опубликовал том статей «Историко-географические этюды». Опубликовал он этот том за собственный счет, на деньги, полученные от отца, и в течение года смог продать по полтора злотых… 11 экземпляров. Остальной тираж он отдал по себестоимости, то есть по одному злотому, книготорговцу, но не за наличные, а в обмен за необходимую ему научную литературу. Несколько лет спустя, когда популярность Лелевеля возросла, этот книготорговец продавал эти томики по восемь злотых…

«Этюды», хотя и не привлекали покупателей, получили отклик, при этом критический. Особенно возмущался ими Ян Снядецкий, сторонник классического, ясного и пышного стиля, который утвердился в Польше в период Просвещения. Лелевель не считался с правилами классицизма, слишком много новых понятий он хотел и должен был ввести в науку. Он писал трудным для понимания языком, полным неологизмов; кроме того, он по собственному усмотрению «улучшал» орфографию. Очень многие чудачества лелевелевского стиля так и остались

только чудачествами, однако многие из созданных им неологизмов получили право гражданства в польском языке. Весь лагерь классиков метал громы и молнии на такие изобретения Лелевеля, как, например, слово «krajobraz» (ландшафт), употребление которого сегодня кажется нам совершенно естественным. Критика книги Лелевеля сосредоточивалась на вопросах формы, но речь шла и о более существенных проблемах. Уже эти «Этюды» давали возможность понять, что молодой ученый совершенно по-иному трактует призвание историка, чем это было привычно корифеям классицизма.

На рубеже 1812 и 1813 годов, после отступления Наполеона из Москвы значительная часть польских земель была занята русской армией. Война продолжалась еще на Западе в течение двух лет, и все это время судьба Польши оставалась неопределенной. Лишь 1815 год принес Европе стабилизацию. Собранные на конгрессе в Вене монархи и министры старого режима перекраивали наново границы государств в соответствии с принципами легитимизма. Польские земли также подверглись новому (как потом говорили — четвертому) разделу. Однако царь Александр объявил себя польским королем, предоставил Королевству Польскому конституцию. «Дух революции» был подавлен в Европе и в Польше. А Александр, победитель Наполеона, казалось, вступал на путь либерализма.

В феврале 1815 года, когда еще заседал Венский конгресс, Иоахим Лелевель получил неожиданно письмо от ректора Снядецкого. Виленский университет приглашал его принять на себя чтение лекций по истории «с годовым окладом 600 руб. серебром… пока кафедра истории в университете не будет иметь профессора». Таким образом, это не было ни назначение, ни предложение кафедры, а лишь приглашение временно исполнять обязанности профессора. Очевидно, Виленский университет должен был покончить с тем уже десять лет существовавшим положением, что преподавание истории было вообще прекращено; а никто из воспитанников Виленского университета не мог идти в сравнение с Лелевелем. Теперь от самого преподавателя зависело, как он справится с порученными ему обязанностями и сумеет ли он добиться в Вильне стабилизированного положения.

2
Исследователь и преподаватель

В начале XIX века, когда Иоахим Лелевель начинал свой путь исследователя, европейская историография делала лишь первые шаги в направлении к превращению в науку в точном смысле этого слова. Велики были заслуги в этой области писателей Просвещения как потому, что они порвали со ссылками на провидение как определяющий фактор истории, так и потому, что многие из них перестали писать по приказу монарха и для его прославления, что они начинали интересоваться обществом и его культурой, а не только ратными подвигами королей и военачальников. Однако эти новые тенденции с запозданием прививались в странах Центральной и Восточной Европы. Для образованных поляков авторитетом в области историографии оставался Адам Нарушевич. Его «История польского народа», изданная в 1780–1786 годах, была доведена до конца XIV века. Нарушевич писал ее по заказу короля Станислава Августа Понятовского и старался доказать в своем труде, что величие Польши создали монархи. Он поставлял аргументы той группе польских патриотов, которые видели спасение находившейся в опасности родины в укреплении королевской власти. Это была, таким образом, история весьма тенденциозная, односторонняя и почти исключительно политическая. В России важным этапом развития исторической науки стала многотомная «История государства Российского» Н. М. Карамзина. В 1822–1824 годах Лелевель опубликовал в петербургском «Северном архиве» обширную статью «Рассмотрение «Истории государства Российского» г. Карамзина», в которой старался в завуалированной форме разъяснить читателям, что он равно не одобряет идеологию и методику как Нарушевича, так и Карамзина.

После Венского конгресса Европа вступала в период реакции. В правительственных сферах существовали тогда два различных взгляда на историческую науку. Один из них представлял просвещенный либерал князь Адам Чарторыский. «История, данная под философским углом зрения, — писал князь, — является школой для людей всех сословий, ибо в ней каждый на своем уровне может найти правила, в соответствии с которыми следует поступать. Если эта наука будет распространяться в истинном духе и должными этапами, то она может более, чем какая-либо иная, облагородить чувства и укоренить в умах

здравые и разумные представления».

Цензор Ян Шанявский, главный оплот реакции в Варшаве, подходил к этому вопросу по-иному. История, по его мнению, превратилась в последнее время «в преступную трибуну безбожия, разрушительных политических принципов, оппозиции и духа мятежа… Мы еще задрожим при виде бездны, которую открывает под ногами молодежи история, если… она не будет преподаваться под постоянным руководством истинных принципов».

Одобрение истории как опоры упорядоченного общества, осуждение истории как угрозы для общества. Новому поколению романтиков предстояло вступить в борьбу с обоими этими стереотипами.

Вступительная лекция Лелевеля в Виленском университете, прочитанная 4 мая (ст. ст.) 1815 года в присутствии ректора и многочисленных профессоров, именовалась «О легком и полезном обучении истории». Она была посвящена опровержению популярного упрека, будто бы изучение истории, рассказывающей об ошибках и пороках человечества, могло повлечь деморализацию молодежи. Как раз наоборот, утверждал Лелевель, история будет наилучшей школой воспитания граждан, но при том условии, что она станет истинной историей, что она будет стремиться к полному раскрытию истины, «если она (история) не ограничится сухим перечислением событий, как детских сказок, а обратит все внимание обучающихся на философскую и политическую сторону дела».

О том, как понимал Лелевель это полное (как мы сказали бы ныне — интегральное) изложение истории, говорила изданная в том же 1815 году книжка «Историка», являющаяся кратким очерком методологии истории. Она содержала не только основные указания о методе собирания источников, их критике, о восстановлении хода исторических событий и связи между ними, но и взгляд на то, что должно содержать изложение истории. Свои тезисы профессор развивал в лекциях, которые он читал в течение последующих лет. Он отмечал два аспекта истории — описательный и нарративный. Первый должен был основываться на географии, а материал свой черпать из этнографии, экономики и статистики. Второй развивался во времени, а следовательно, основывался на хронологии, но его предметом была не только политическая история, но наиболее широким образом понимаемая культура. В работе «О потребности глубокого знания истории», опубликованной в 1816 году, Лелевель перечислял те области, которые обязан разработать историк соответствующей эпохи: не только ход политических событий, но и характер

общества, и взаимоотношения его составных частей, и тогдашний уровень различных наук и ремесел. «Внимание (историка) обращается к мастерству, к ремеслам, ко всяким промыслам, ему не может быть безразлично, как ткали, строили, ковали железо, клали печи и т. д.». Это были новаторские формулировки в ту далекую от нас эпоху, когда историю материальной культуры трактовали как диковинку, а не как интегральную часть исторического процесса.

Свои взгляды Лелевель развивал в процессе чтения курса всеобщей истории, начиная от древней истории, с многочисленными отступлениями в область вспомогательных исторических дисциплин: нумизматики, дипломатики, хронологии. Лекции его пользовались популярностью. «Не знаю, что привлекает моих слушателей, — писал Лелевель отцу в конце 1815 года. — У нас грязь, скверная погода… а, несмотря на это, на лекции еще в потемках собирается человек полтораста, если не более». Молодой профессор мог импонировать студентам своей громадной эрудицией, шла ли речь об античных источниках или о европейской литературе. Однако более всего он привлекал их своей личной заинтересованностью, полным темперамента изложением, а также явно ощутимым подтекстом лекций, едва прикрытой полемикой с взглядами эпигонов Просвещения, а тем более консервативной шляхты. Слушатели Лелевеля в подавляющем большинстве происходили из обедневшей шляхты, для которой образование было путем к интеллигентской профессии. Именно в этой среде вскоре оформилась политическая оппозиция, участников которой мы сейчас называем шляхетскими революционерами. Для этой молодежи тридцатилетний Лелевель был представителем не старшего поколения, а их собственной среды, выразителем их собственных интересов и устремлений.

Лелевель чувствовал себя хорошо в Вильне. Одновременно с работой в университете он готовил новые научные публикации, в частности обширный том «Древняя история». Он нашел также в Литве преданных друзей и, как мы увидим далее, известное поле общественной активности. Зато плохо обстояло дело с его ученой карьерой. Лелевель не принадлежал к числу тех, кто умеет и стремится заботиться о материальных благах. Попечительство намекало на перспективу назначения его адъюнктом и на предоставление стипендии для заграничного путешествия. Более старые профессора с завистью наблюдали за успехами пришельца из Варшавы. После трех лет преподавания вопрос о назначении Лелевеля на кафедру продолжал оставаться открытым. Между тем в Варшаве был основан новый университет, и Лелевель надеялся

получить кафедру истории в своем родном городе. Впрочем, и это кончилось ничем: в Варшаву его пригласили на должность библиотекаря и предложили читать курс библиографии. Это значительно сужало область влияния Лелевеля на молодежь по сравнению с лекциями, которые он читал в Вильне. Однако, с другой стороны, предлагаемая ему в Варшаве должность означала продвижение по службе и открывала новое поле для научной работы. А прежде всего он мог показать руководителям Виленского университета, что он не зависит исключительно от их милости. В 1818 году Лелевель переехал в Варшаву, не испытывая, впрочем, по этому поводу особого энтузиазма. Ян Снядецкий, в это время уже не ректор, с удовлетворением приветствовал это решение. «Я поздравляю наш (университет), — писал он Чарторыскому, — что он избавится от этого человека, у которого наука отняла разум, а взрастила наглость».

Между тем варшавская должность принесла Лелевелю разочарование. Директором вновь создаваемой университетской библиотеки был назначен пожилой человек, знаменитый автор «Словаря польского языка» Самуэль Богуслав Линде. Лелевель должен был ему помогать — это означало, что на него ложилась вся работа, честь за которую доставалась другому. Собственно научным результатом этих нескольких лет библиотечной деятельности Лелевеля стали «Две книги библиографии», труд, явившийся исходным пунктом позднейших прославленных библиографических публикаций в Польше. Чтение лекций по библиографии в Варшавском университете Лелевеля не привлекало, он хотел добиться права читать лекции на иную тему, более интересную для слушателей.

В 1820 году он читал курс всеобщей истории XVI–XVII веков, но не завоевал большой популярности. В отличие от Вильны в Варшаве была популярна пышная, стилистически безупречная риторика позднего классицизма. Терминология и стиль Лелевеля оскорбляли вкус столичных салонов.

Не добился Лелевель успеха и в Обществе друзей наук, почтенном и заслуженном учреждении, основанном в 1800 году. В обществе заседали ученые старшего поколения во главе со знаменитым Сташицем, заседали также аристократы, интересующиеся наукой или жертвующие на научные цели. О принятии Лелевеля в члены общества речь шла еще в 1811 году. Еще трижды — в 1813, 1815 и 1820 годах — ставилась на баллотировку эта кандидатура, каждый раз с отрицательным результатом, несмотря на огромные уже научные заслуги кандидата. Он был принят в действительные члены общества лишь в 1821 году. Такое затягивание было нелестным

свидетельством о самом обществе, но Лелевеля оно должно было оскорбить. Ему предъявлялась претензия, что он все еще не имеет ученой степени; тогда Краковский университет, с которым Лелевель никогда не был связан, прислал ему заочно диплом доктора философии.

Из важнейших трудов Лелевеля варшавского периода следует назвать «Древнюю историю Индии», безупречную для своего времени по качеству книгу, к тому же первую на эту тему в Польше. Особенное, однако, внимание привлекла другая монография, а скорее эссе — «Историческая параллель между Испанией и Польшей в XVI, XVII, XVIII вв.». Это был первый опыт применения Лелевелем выдвигавшегося им постулата сравнительной истории, понимаемой к тому же новаторски: не как любопытная самоцель, а как материал для выявления общих закономерностей и местной специфики. Испания и Польша были государствами, которые в XVI веке стояли на вершине могущества, а в течение последующих столетий переживали все больший упадок. Одинаковы ли были причины этих двух параллельных процессов и если так, то в чем они заключались? Каковы были — в Испании и в Польше — шансы будущего возрождения? Эти проблемы будоражили общество в 1820 году, когда была написана лелевелевская «Параллель». В Испании именно в это время вспыхнула революция, судьба которой живо занимала патриотические и конспиративные круги в Польше. И вновь следует заметить, что обращение Лелевеля к «испанской» тематике, пусть и в историческом аспекте, могло возбудить в Варшаве подозрения.

Таким образом, положение Лелевеля в Варшаве не было особенно прочным, когда в 1820 году Виленский университет объявил наконец конкурс на замещение кафедры истории. Темой конкурса было «О истории, ее ответвлениях и науках, с нею связанных». Лелевель приступил к конкурсу без веры в успех. Между тем его конкурсная работа оказалась настолько выше всех остальных, что выбор был бесспорен. После новой проволочки Виленский университет перед самыми каникулами 1821 года зачислил наконец Лелевеля на должность ординарного профессора. Недооцененный или попросту выжитый из Вильны три года назад, он возвращался теперь на кафедру почти как триумфатор.

Вступительная лекция Лелевеля была назначена на 19 января 1822 года. Наплыв слушателей, не только студентов, но и горожан, был настолько велик, что ректора и профессоров едва не задушили в толпе. Дважды меняли зал, выбирая все больший, наконец отложили лекцию на два дня, чтобы подготовить самый

большой зал. В этот день Лелевеля слушало более полутора тысяч человек. Он говорил о трудностях профессии историка, а в заключение коснулся просьбы, с которой уже не раз к нему обращались: чтобы в своих лекциях он обратил внимание также на «местную историю, историю Литвы». Бесспорно, отметил он, сделать это и можно и нужно, но «нельзя трактовать историю ни одного уголка Европы без знания ее всеобщей истории, без обращения к ней. Уже в течение многих веков судьбы стран и народов определяют не только деятельность и не только заслуги жителей или правителей, но всеобщее движение и перемены культуры. Кто пренебрежет этой общей деятельностью человеческого рода, тот неверно изложит историю собственного народа, а своих предков то почтит необоснованной похвалой, то невольно их обидит. Всеобщая история является совокупностью всех историй, опорным пунктом, на котором основывается развитие отдельных народов».

В соответствии с этой посылкой Лелевель читал последовательно курс всеобщей истории — древней и средневековой, затем историю исторической науки, вновь начиная со времен античности. Он читал также лекции по методологии («История, ее ответвления, на чем она опирается»), подготовил курс статистики, которой он отводил, как отмечалось, огромную роль при исследовании прошлого. На его лекциях всегда было много слушателей, которые нередко встречали и провожали его аплодисментами.

За несколько лет, прошедших с 1815 года, идеи, концепции, форма выражения, вчера еще вызывавшие удивление и осуждение, вдруг стали всеобщим достоянием. В литературе утвердился романтизм, восторжествовал он и в политике. Наиболее горячо аплодировали Лелевелю друзья и сотоварищи Адама Мицкевича, первого романтического поэта, те самые, кого вскоре мы встретим в рядах романтиков-конспираторов.

Мицкевич приветствовал возвращение Лелевеля одой, в которой сквозь сознательно классицистическую форму, сквозь торжественно размеренный ритм прорывался сдерживаемый юношеский энтузиазм:

Давно взыскуемый питомцами своими,
Лелевель славный, вновь предстал ты перед нами,
И снова дружеской ты окружен толпой,
Глядящей на тебя, как на родник живой…
Не только у себя в стране ты знаменит, —
За рубежом ее хвала тебе гремит.
О том, что твой приезд нам сделал солнце краше,

Ладони и уста свидетельствуют наши.

Необходимо отметить, что стихотворение содержало поэтическое изложение историософии Лелевеля, оно говорило о постепенном развитии человечества, последним этапом этого развития была недавняя французская революция. Мицкевич включил в свое стихотворение яркую декларацию интернационализма:

А солнце истины горит для всех равно,
Различия племен не ведает оно,
Всех одинаково своим ласкает светом,
Жар посылает всем, живущим в мире этом…

Лелевелевские исследования ранней истории славянских народов были с интересом встречены в России. После его полемики с Карамзиным он получил приглашение сотрудничать в различных русских журналах. Вольное общество любителей российской словесности в Петербурге, аналогичные общества в Москве и Харькове прислали ему дипломы почетного члена. Со многими русскими учеными Лелевель установил тогда дружеские письменные контакты, в нескольких случаях эта переписка продолжалась даже после политической катастрофы.

Ибо не прошло и трех лет, как успешно развивающаяся профессорская деятельность Лелевеля была насильственно прервана политическими репрессиями.

С начала 20-х годов во всей Европе одновременно усилились, с одной стороны, идеологическое брожение буржуазной интеллигенции, с другой же стороны — реакционные действия монархических правительств. Ответом на конспирации и революционные попытки были полицейское наблюдение и репрессии. Не осталась в стороне от этого конфликта и Вильна, где как студенческая молодежь, так и некоторые профессора давно уже считались «неблагонадежными». 3 мая 1823 года в одной из виленских школ ученик пятого класса написал на доске несколько слов в честь польской конституции 1791 года, годовщина которой приходилась на этот день. Один из особо усердных учителей поставил в известность об этом «преступлении» губернатора. Напрасно университетские власти пытались замять этот мелкий инцидент, подвергая взысканию нескольких учеников, а также и директора школы. Донесения о происшествии были направлены в Варшаву великому князю Константину Павловичу и в Петербург Александру I. В июле в

Вильну был прислан сенатор Новосильцев с широчайшими полномочиями для ведения следствия. Вскоре он напал на след тайных организаций, в течение уже нескольких лет действовавших в университете и в нескольких школах за пределами Вильны. Аресты в Вильне и провинции охватили сотни людей, главным образом несовершеннолетнюю молодежь. Следователи пытались впутать в дело также и Лелевеля, но у них не было ни малейших улик. В первой половине 1824 года посыпались многочисленные приговоры, главным образом ссылки в глубь России. Важным последствием этого раздутого дела стала реорганизация университета. Чарторыского на посту попечителя сменил Новосильцев, ректором и деканами стали клевреты могущественного сенатора. Четверо наиболее популярных профессоров, среди них Лелевель, были уволены. Осенью 1824 года Лелевель вновь оказался в Варшаве, на этот раз без постоянной должности.

Он, впрочем, и не стремился ее получить, зная, что значится не на хорошем счету и что условием каждой официальной должности был бы отказ от свободы мысли и высказываний. Лелевель сознательно ограничил себя самостоятельной научной работой, хотя в те времена научные журналы не платили гонораров, а гонорары от книгопродавцев за книги поступали нерегулярно. До этого времени Лелевель, никогда не располагавший большими средствами, мог, однако, жить безбедно: в Вильне у него была большая квартира, он элегантно одевался, вел светский образ жизни, сам охотно устраивал щедрые угощения. Теперь он начал намеренно и подчеркнуто — для демонстрации своей независимости — ограничивать себя. В доме на Длугой улице он занимал две комнатки, в городе его неизменно видели в одной и той же синей накидке устаревшего покроя. Он начинал проявлять ту наклонность к самоограничению, которая позднее, в годы эмиграции, приняла уже болезненный характер.

В 1824–1830 годах Лелевель активно участвовал в заседаниях Общества друзей наук. Более всего, однако, он работал дома, обычно по ночам. Запоздалые прохожие могли в любой час ночи увидеть в освещенном окне его дома профиль ученого, склоненного над книгой. В стихотворении одного из романтических поэтов о духовной жизни Варшавы накануне восстания, написанном в эмиграции, мы находим такое двустишие:

Гляди! В окошке Лелевеля
Лампада вечная горит…

В течение этих пяти лет Лелевель опубликовал несколько десятков статей и книжек по истории Польши, археологии, нумизматике, праву и библиографии. Актуальные ассоциации будила его книжка «Спасение Польши при Владиславе Локетке», описывающая, как в начале XIV века страна сбросила чешское господство благодаря совместному действию всех классов нации. Но наибольшей популярностью пользовалась изданная в 1829 году «История Польши, изложенная популярным образом». Это была первая в Польше отечественная история, предназначенная для молодежи. Значение этой книжки тем более велико, что автор весьма откровенно выражал в ней свои республиканские убеждения. Ниже мы еще остановимся на этих взглядах Лелевеля и их влиянии, сейчас же достаточно отметить, что первое издание «Истории» разошлось в течение нескольких месяцев.

Казалось бы, что старательный ученый поглощен своей исследовательской работой и не обращает внимания на происходящие вокруг события: смерть Александра I, восстание декабристов и новое следствие, охватившее значительно более широкие круги как в России, так и в Польше. Однако это было бы ошибочное впечатление. В течение уже длительного времени ученый Лелевель участвовал также в политической деятельности. Трудно лишь определить, в какой мере он это делал сознательно, а в какой это происходило помимо его воли.

3
Вдохновитель польского подполья

Все то, что было сказано выше о деятельности Лелевеля как преподавателя и писателя, опирается на обширную документацию — его собственные свидетельства, официальную и частную переписку и рассказы третьих лиц. Иначе дело обстоит со сведениями о его политической деятельности. На эту тему Лелевель предпочитал хранить молчание не только в эти годы, но и много позже, когда он был в эмиграции. Скудны данные, которые можно найти на эту тему в его воспоминаниях, письмах, как, впрочем, и в следственных актах. Противоречивы и неполны свидетельства других конспираторов. Следствием этого является существенное расхождение взглядов в польской исторической науке на вопрос о политической роли Лелевеля перед 1830 годом. Одни утверждают, что он сторонился политики вплоть до самого кануна восстания. Другие, напротив, доказывают, что он был тщательно законспирированным руководителем всех подпольных начинаний в Польше в эти годы.

Тайные организации в Польше в 1815–1830 годах, как и в других странах Европы, развивались главным образом в офицерском корпусе и среди студенческой молодежи. Начало студенческих организаций относится и в Варшаве и в Вильне к 1817 году. Первая тайная офицерская организация в Варшаве, называвшая себя Национальное масонство, возникла два года спустя. И офицерские и студенческие организации были немногочисленными, лишенными контакта с массами, они отнюдь не ставили своей целью быструю подготовку революции. Национальные лозунги в их программе отодвигали на второй план политические и социальные. Главной целью было охранение, укрепление национальности, в случае необходимости — ее защита. Лишь более поздним развитием этой программы становились задачи вооруженного восстания, социальных реформ, союза с русскими революционерами.

Лелевель мог встретиться с этой проблематикой в 1815–1818 годах, во время своего первого пребывания в Вильне в качестве преподавателя. Тогдашняя Литва была экономически отсталым краем с преобладанием барщинного хозяйства. Консервативное большинство помещиков было довольно тем, что царское правительство гарантировало их сословные привилегии и полную свободу эксплуатации крестьянства. Однако и среди поместной шляхты существовали группы, настроенные более либерально или

(в экономическом смысле) прогрессивно. Их программа имела целью ликвидацию личной зависимости крестьян, однако без признания за ними прав на землю. Такая реформа по инициативе Наполеона была осуществлена в Варшавском княжестве и сохранена в Королевстве Польском. И хотя программа либеральных помещиков сулила мало хорошего литовским и белорусским крестьянам, она все же предусматривала ограничение наиболее вопиющих сторон феодального гнета.

Деятельные представители этого направления объединялись в Вильне в обществе, шутливо называемом Обществом прощелыг. Это была сравнительно немногочисленная, непостоянная по своему составу и отнюдь не конспиративная группа состоятельной шляхты и городской интеллигенции. «Прощелыги» имели собственный легально издаваемый юмористический листок «Уличные ведомости», в которых они решительно, хотя и в шутливой форме, осуждали плохое обращение шляхты с крестьянами. Мы можем с большой степенью уверенности утверждать, что Лелевель не принадлежал к Обществу прощелыг. Он считал их пропаганду несерьезной, а «Уличные ведомости» подсмеивались и над ним.

Организацией лишь наполовину тайной, находящейся под покровительством и контролем правительства, было масонство. Несмотря на это, оно выдвигало лозунги равенства всех сословий и было враждебно узкому клерикализму. Многочисленные масонские ложи существовали и в Варшаве и в Вильне. Но достоверные списки их членов в период перед запрещением масонства в 1821 году не содержат имени Лелевеля.

Зато известна иная его общественная инициатива. С конца 1815 года издавался «Виленский еженедельник», легальный журнал, который в течение нескольких лет, пока его еще не притесняла цензура, был органом прогрессивной общественности Литвы. Лелевель привлекал к сотрудничеству в журнале и своих коллег-профессоров, и наиболее способных студентов. Именно в «Виленском еженедельнике» увидели свет первые поэтические произведения Мицкевича. Лелевель публиковал в еженедельнике собственные научные работы, а также острые полемические статьи, направленные против лагеря классиков и против обскурантов из круга виленского духовенства. Сотрудничество Лелевеля в еженедельнике пошло на убыль после его переезда в Варшаву; несколько лет спустя журнал пришел в упадок и издание его прекратилось.

Конспиративное движение в Вильне было представлено Обществом филоматов, основанным в 1817 году группой единомышленников-студентов (Юзеф Ежовский, Томаш Зан, Адам

Мицкевич, Францишек Малевский, Ян Чечот и др.). Филоматы ставили перед собой далеко идущие цели; благодаря развитой системе дочерних организаций они в течение нескольких лет подчинили своему влиянию все активные элементы студенчества, распространили влияние на средние школы в других городах Литвы и Белоруссии, установили контакты и среди «старших», в частности среди офицеров. В принципе они занимались самоусовершенствованием, считая, что в будущем, когда они вырастут и займут ключевые позиции, они подготовят общество к социальным реформам и к борьбе за независимость. Весьма обширная конфиденциальная переписка филоматов сохранилась почти полностью. Она позволяет утверждать, что они считали Лелевеля своим человеком, которому можно верить. Однако нет ни малейших данных о том, чтобы они обращались к нему когда-либо за советом в политических делах, как и о том, чтобы он сам пытался ими руководить.

В корреспонденции филоматов встречаются упоминания о тайных организациях «старших», в отношении которых эта самолюбивая молодежь ревниво охраняла свою самостоятельность. Как явствует из этого источника, в Вильне в начале 20-х годов существовал карбонарский «шатер». Карбонарии были международной революционной организацией, генетически связанной с масонством, но более радикальной и демократической. Главный их центр находился в Париже; их целью было низвержение монархических правительств путем вооруженного переворота. С карбонариями было связано Патриотическое общество в Варшаве. Существует гипотеза, что виленский «шатер» был главной движущей силой революционного подполья в Литве и что во главе его стоял Лелевель. Однако нет ни одного источника, подтверждающего принадлежность Лелевеля в эти годы к карбонариям (сам он впоследствии отрицал это, что само по себе еще ничего не доказывает), как и сообщающего (что более важно) о какой-либо деятельности этих виленских карбонариев. Строить какие-либо гипотезы на данных такого порядка невозможно.

В конце 1818 года в Вильне произошло событие, получившее широкий резонанс. На губернском шляхетском сеймике было выдвинуто предложение об отмене крепостной зависимости крестьян. Это предложение саботировала консервативная часть шляхты во главе с маршалком графом Плятером. Заседания завершились направлением царю мемориала об облегчении положения крестьян. Мемориал не имел последствий. Лелевель, как можно судить по тогдашним его высказываниям, был сторонником крестьянской реформы, но постановку этого вопроса

на сеймике он считал несерьезной и не имел к ней отношения.

Следующие три года Лелевель, как нам уже известно, провел в Варшаве. Это было время деятельности Национального масонства — тайной организации, основанной главным образом офицерами, во главе которой стоял майор Лукасиньский. В мае 1821 года руководители Национального масонства преобразовали его в Патриотическое общество, чтобы закрыть доступ в организацию некоторым лицам, подозреваемым в связях с полицией. Одним из членов новой организации был брат Иоахима Лелевеля Прот, который писал в своих воспоминаниях: «Покидающего родной дом Иоахима я присоединил к обществу, дав ему поручение заниматься пропагандой». Из этого важного свидетельства следует, на наш взгляд, что до мая 1821 года Иоахим Лелевель не принадлежал к варшавской конспирации. Он вновь оказался в Вильне, однако нет никаких данных, чтобы он вел там конспиративную деятельность. Патриотическим обществом в Вильне руководили иные люди. Следовательно, либо Лелевель не относился всерьез к своему участию в конспирации, либо он настолько законспирировался, что его деятельности никто не замечал. На практике различие невелико.

Мы уже упоминали, что следствие Новосильцева в 1823 году не докопалось, несмотря на все старания, до данных о «преступной» деятельности Лелевеля. Не скомпрометировало его также и следующее, гораздо более широкое следствие, организованное в Варшаве в 1826 году после подавления восстания декабристов. Следственная комиссия только один раз допрашивала Лелевеля, который не был взят под стражу. Он. весьма осторожно заявил, что ему приходилось слышать о Патриотическом обществе и что оно, насколько ему известно, ставило своей целью присоединение со временем к королевству других частей Польши. Следственная комиссия, как правило весьма подозрительная, оставила Иоахима Лелевеля на свободе, несмотря на то, что его брат Прот просидел несколько месяцев в заключении.

Подводя итог, мы можем сказать, что до сих пор нет убедительных доказательств активного участия Лелевеля в конспиративных организациях 1817–1826 годов. Однако бесспорным является косвенное влияние Лелевеля на эти организации, особенно молодежные, влияние его трудов и личного примера. Все то, что говорил или писал в своих лекциях Лелевель о значении народных масс в истории, о древности и преимуществах республиканского строя, о значении политических свобод и религиозной терпимости, все это сразу покоряло сердца и умы в среде юной конспирации. Когда

филоматы поручали своим приверженцам сбор на местах статистических материалов как первого этапа деятельности по улучшению взаимоотношений между сословиями, то они следовали прямой рекомендации Лелевеля и руководствовались схемой, почерпнутой из его лекций. Полемика Лелевеля с Карамзиным была немедленно подхвачена русскими декабристами, которых обрадовала основательная критика официальной придворной историографии. Если у нас нет данных, которые позволили бы отнести Лелевеля к числу участников названных организаций, то нет сомнения в том, что он был их вдохновителем.

После 1824 года Лелевель утратил контакт с широкими студенческими кругами. Но его охотно навещала молодая варшавская интеллигенция — журналисты, поэты, деятели искусства. Главной темой бесед был продолжающийся спор романтиков и классиков вокруг вопроса об эстетических принципах. Темпераментным воителем за принципы романтизма был Мавриций Мохнацкий, молодой, чрезвычайно талантливый литературный критик, с задатками крупного политического деятеля. Лелевель также принял участие в этом литературном споре и в полемической статье даже несколько иронизировал по поводу романтического энтузиазма Мохнацкого. По мнению Лелевеля, скандинавская мифология, которой восторгались романтики, была для поляка ничуть не более естественной, чем классическая греческая мифология. Романтизм — современное и интересное течение, но и у романтиков встречаются неудачные стихи. Надо идти с духом времени, быть романтиком, но прежде всего надо вводить в литературу национальную и, насколько это возможно, современную тематику. Эти разумные замечания были хорошо приняты молодежью, но вызывали раздражение в аристократических салонах. Каетан Козьмян, поэт старого толка, писал в 1823 году: «Вот и почтеннейший наш антиквар Лелевель вмешивается уже в вопросы поэзии и хорошего вкуса, это он-то, который… даже галстука хорошо завязать не умеет…»

Казалось бы, упомянутый литературный спор касался области абстракции. Но подвергавшиеся атакам классики были консерваторами и в области политики, в то время как литературные друзья Лелевеля оказались в 1830 году в первых рядах повстанцев.

После разгрома в 1826 году тайных обществ политическая атмосфера королевства казалась спокойной. Край развивался экономически, аристократия и крупная буржуазия были связаны с правительством деловыми интересами. Однако росло брожение среди мелкой шляхты и интеллигенции. Правящей клике не

прощали различные злоупотребления, слышались нарекания на гнет цензуры в отношении литературы и печати, выражались особенно опасения в связи с утвердившимся в России после вступления на престол Николая I реакционным курсом, который мог угрожать также остаткам конституционных свобод в Польше. В это время в королевстве не было явных революционных намерений или приготовлений, зато была широкая тенденция сопротивления реакционному курсу легальными средствами.

В рядах легальной оппозиции оказался и Лелевель. В 1828 году он выдвинул свою кандидатуру в дополнительных выборах депутата сейма (посла) в Желеховском повете. Согласно конституции членов посольской палаты избирали отдельно шляхта и «гмин», то есть представители мещанства и богатого крестьянства. Лелевель был шляхтичем, но право выдвигать свою кандидатуру мог лишь шляхтич, имеющий в данном избирательном округе недвижимое имущество. Необходимое — совершенно фиктивное — удостоверение о наличии землевладения Лелевель получил благодаря помощи родственников — помещиков Цецишовских. Он был избран на сеймике значительным большинством голосов. Шелеховский повет был районом поселения мелкой шляхты, сеймики здесь были особенно многочисленны и правительство не имело возможности существенно влиять на результаты выборов.

Сейм Королевства Польского созывался раз в несколько лет на короткие четырехнедельные сессии. Он не имел законодательной инициативы, а с 1825 года был лишен права публичности заседаний. Тем не менее он оставался трибуной, с которой можно было критиковать политику правительства. Николай I собрал сессию сейма после длительного перерыва в мае 1830 года. Самым важным из представленных правительством палатам законопроектов было законодательство о семье. Спор, связанный с этим законодательством, тянулся уже в течение двух десятков лет; речь шла о том, как примирить действующий в Польше кодекс Наполеона с предписаниями церкви, претендовавшей на исключительное право решения вопроса о действительности и сохранении брака. В этом споре сторонники светского законодательства наталкивались на сопротивление епископата и консервативных слоев общества. Правительство в течение 15 лет меняло в этом вопросе свою позицию в безуспешных поисках компромисса. В конце концов оно пошло навстречу епископам и представило сейму ультраконсервативный проект. Он был встречен посольской палатой весьма отрицательно и как правительственный проект и как реакционный. Прения продолжались два дня, обе стороны

обращались к различным аргументам и способам нажима. Лелевель выступал одним из последних. Его речь была сухой профессорской лекцией из области истории церковного права, начиная от эпохи Константина Великого; речь эта, вероятно, утомила палату. Однако важен был вывод: Лелевель предлагал, чтобы палата отвергла правительственный проект и сама приступила «к разработке нового законодательства по вопросам брака, никаким образом не связанного с религиозными принципами». В результате голосования, происходившего сразу после этой речи, правительственный законопроект был отвергнут 93 голосами против 22.

О своем участии в этой краткой сессии Лелевель позднее сказал, что «на сейме он мало говорил, но был весьма деятелен». За кулисами он готовил оппозиционные выступления, в частности по вопросам восстановления публичности заседаний сейма и свободы печати. Эти выступления не имели практических результатов, но они делали Лелевеля известным как смелого защитника национальных свобод. По городу, в университете, в литературных кофейных ходили преувеличенные слухи о безмерной отваге депутата из Желехова, вступающего в спор с грозным царем. Действительность была более скромной. Лелевель и в самом деле был человеком, не поддающимся давлению извне, он был также убежден в действенности общественного мнения. Однако не создается впечатления, чтобы в этот момент, за полгода перед взрывом восстания, Лелевель всерьез стремился повести страну по революционному пути.

4
Ноябрьская ночь

В последних днях июля 1830 года до Варшавы донеслась весть о революции, которая низвергла в Париже династию Бурбонов. Это известие взбудоражило всю Европу: воспоминание о предшествующей революции, начавшейся сорок лет назад, заставляло ожидать с надеждой или со страхом, что революция распространится из Франции на другие государства. Действительно, в сентябре бельгийцы вступили в борьбу против правивших в их стране голландцев. Остальная часть континента оставалась внешне спокойной, но в различных кругах готовились к дальнейшим событиям. В Италии, Германии, Австрии и Польше революционные элементы рассчитывали развернуть борьбу против своих правительств, если французское движение проявит наступательную силу. В то же время монархии Священного союза предпринимали военные приготовления, чтобы дать отпор революции. Николай I прощупывал почву в Берлине и в Вене в отношении возможности совместного выступления против взбунтовавшихся бельгийцев. Теперь, зная скрытую от современников закулисную сторону событий, мы ясно видим, что ни новая монархия Луи-Филиппа во Франции не намеревалась тогда провоцировать другие европейские дворы, ни эти дворы не приняли решения перейти в наступление. В то время, однако, ранней осенью 1830 года обе перспективы могли казаться несомненными: и то, что революция разольется по Европе, и то, что на Западе дело дойдет до большой войны между силами реакции и прогресса. Николай I отнюдь не скрывал, что в поход контрреволюции на Запад должна двинуться превосходно вооруженная и обученная польская армия.

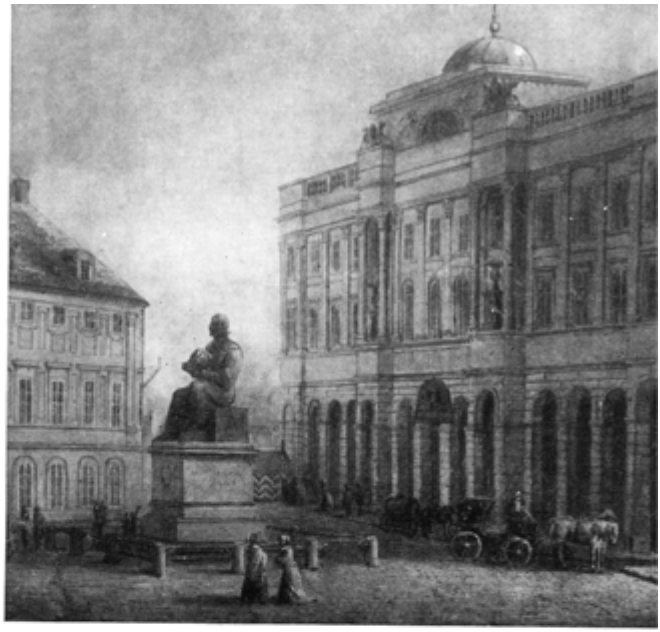
Исследователи неоднократно высказывали предположение, что революционные круги Франции обратились тогда к своим братьям-карбонариям в Варшаве с просьбой, чтобы те предприняли в Польше вооруженную диверсию для спасения французской революции. Возможность, что такое обращение имело место, не исключена, хотя это не подтверждается ни одним достоверным источником. Нужно, однако, быть весьма низкого мнения о польских революционерах, чтобы полагать, что они схватились за оружие автоматически, по приказу из Парижа, во имя примитивно понятой международной солидарности, в то время когда французам, собственно, еще ничто не угрожало. У поляков были собственные мотивы для того, чтобы начать борьбу

именно в этот момент, таким мотивом было как раз это намеченное выступление польской армии на запад.

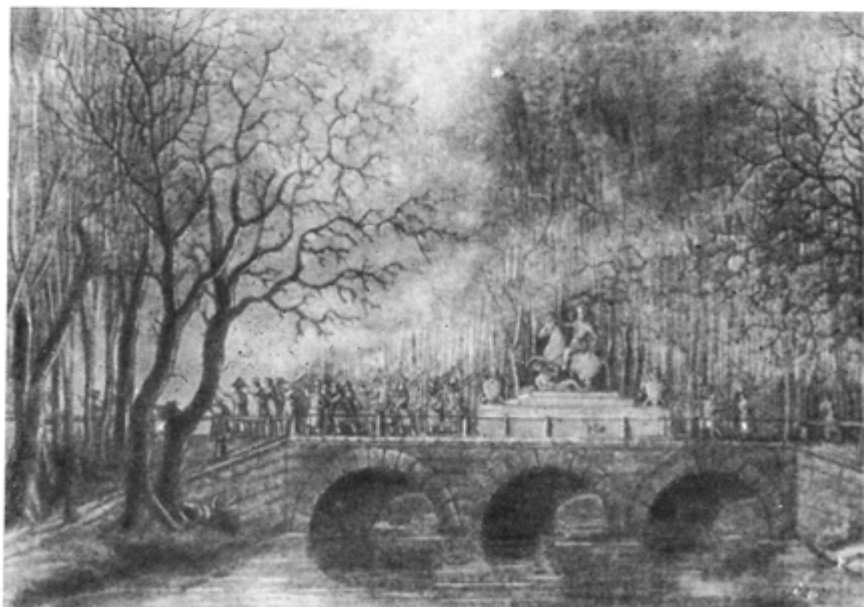
В Варшаве в это время три политических центра взвешивали перспективы вооруженного восстания. Во-первых, в школе подхорунжих пехоты в течение уже двух лет существовала тайная организация, руководимая Петром Высоцким. Школа объединяла наиболее революционные элементы офицерской молодежи, ответвления организации существовали в других частях варшавского гарнизона. Во-вторых, к политике обратился уже знакомый нам кружок интеллигенции во главе с Маврицием Мохнацким, имевшим влияние на студенческую молодежь. В-третьих, речь идет о представителях сеймовой оппозиции, о таких людях, как Францишек Тщиньский, Валентый Зверковский, Ян Ольрих Шанецкий, Роман Солтык, и среди них Лелевель.

К Лелевелю обращались тогда взоры всей революционной молодежи. Чрезвычайно трудно установить, каковы в тот момент были его намерения. Он считался с возможностью восстания, не противодействовал ему, давал даже конспираторам некоторые советы, но не принимал на себя руководства и не принимал ни за что ответственности. Приведем в доказательство два свидетельства. Один из штатских конспираторов, Реттель, рассказывает, что в публичной библиотеке однажды Лелевель, как всегда обложенный книжками, вдруг поднял голову и громко сказал: «Господа, скоро будет революция!» — после чего сразу же вновь зарылся в книгах. Когда это заявление он повторил несколько раз, какой-то доброжелатель шепотом сделал ему замечание, что он напрашивается на неприятности. Лелевель ответил, что об опасности революции ему недавно говорил… сам цензор Шанявский! Такое поведение говорит о том, что Лелевель стремился к возбуждению революционных настроений, особенно среди студенчества.

Дворец Сташица — резиденция варшавского Общества друзей наук. М. Залеский, масло.



Повстанцы на мосту у памятника Яну Собескому в ночь на 29 ноября. 1830 г. Акватинта Ф. Х. Дитриха.



Сам Лелевель впоследствии рассказывал, что он дал совет группе штатских конспираторов, что если они хотят начинать восстание в Варшаве, то должны обеспечить себе, как во времена Костюшки, поддержку городского плебса. Для этого он рекомендовал организовать 4 ноября — в годовщину падения Праги (варшавского предместья) — панихиду и пригласить на нее

представителей ремесленных цехов. Подобные панихиды действительно состоялись в нескольких варшавских костелах, но среди беднейшего населения они не получили существенного резонанса.

21 ноября к Лелевелю явились три представителя конспирации: подпоручик Петр Высоцкий из школы подхорунжих, подпоручик Юзеф Заливский из 4-го пехотного полка и Ксаверий Броникowский от имени штатских конспираторов. Беседа происходила в библиотеке Общества друзей наук и продолжалась несколько часов. Трое молодых патриотов обращались к Лелевелю как к наивысшему авторитету; они заявляли о готовности к восстанию, просили его указаний, его руководства. Можно сказать, что это был момент, когда в двери историка в первый раз постучалась история.

И здесь обнаружилось коренное несоответствие: сорокачетырехлетний ученый, искренний патриот и принципиальный гражданин, проявил абсолютное отсутствие качеств политика, а тем более государственного деятеля. Он мог осудить замысел восстания и полностью от него отстраниться. Он мог также принять на себя ответственность и стать во главе движения или рекомендовать иного руководителя. Он не сделал ни того, ни другого. Он говорил, что шансы восстания невелики, но не отговаривал от него. Он обещал собственное содействие, но в общих словах. Он ручался, что сейм поддержит революцию; верно было то, что сейм был настроен патриотически и оппозиционно, но в его состав входили почти исключительно землевладельцы. По ключевому вопросу — вопросу о создании революционной власти, выдвижении программы национального действия Лелевель ограничился лишь общими фразами, склоняя конспираторов к тому, чтобы они лишь дали сигнал восстания, а уж тогда руководство примут на себя более почтенные и опытные люди. Высоцкий был совершеннейшим альтруистом, он готов был принести себя в жертву, не думая о личных почестях. Только один Мохнацкий в этой среде понимал, что речь идет не о почестях, а о том, быть или не быть революции. Но никто не желал слушать Мохнацкого, и вопрос о революционной власти так и остался до конца нерешенным.

Мавриций Мохнацкий. Гравюра С. Лукомского.

Петр Высоцкий. Литогр. Я. Н. Жилиньского.

Взятие арсенала в ночь на 29 ноября 1830 г. Акватинта Ф. Х. Дитриха.

Два обстоятельства подталкивали повстанцев: объявленный в печати приказ о мобилизации армии с сообщением о близком ее выступлении на запад и начавшиеся аресты конспираторов, создавшие угрозу всеобщего провала. Выступление было назначено на вечер 29 ноября. Его должны были начать штатские конспираторы нападением на Бельведер — резиденцию великого

князя Константина Павловича.

Около восьми часов вечера в Старом городе послышались выстрелы. Известная драма Станислава Выспяньского представляет Лелевеля в этот момент сидящим за письменным столом с лупой в руке, с трудом разбирающего надпись на серебряной монете XI века: «Болеслав, но какой?» Не о монетах в этот момент думал Лелевель. В соседней комнате умирал его старик отец, не приходится удивляться, что ученый не мог покинуть дом. В полночь ворвался с тревожным сообщением Броникowский: восстание развивается, но не без препятствий. Константин скрылся и уцелел, на его стороне стоит часть польской армии и большинство польского генералитета, хотя пока что эти силы ведут себя пассивно. Богатые районы города отнеслись к восстанию холодно, зато с энтузиазмом его поддержало бедное население Варшавы, захватившее арсенал, вооружившееся и вместе с восставшими воинскими частями овладевшее центром города. Сейчас самым срочным делом является создание революционного правительства.

Юзеф Хлопицкий.
Литогр. Вийена.

Ян Скшинецкий.
Литогр. Т. Вивье.

Нападение на Бельведер в ночь на 29 ноября 1830 г.
Акватинта Ф. Х. Дитриха.

Лелевель стряхнул с себя апатию и, оставив умирающего отца, вышел вместе с Броникowским в город. Продолжавшееся несколько часов его путешествие было безрезультатно: одних людей он не застал дома, другие уклонялись от участия. Ученый возвратился домой ни с чем. В четыре часа утра умер его отец, он же снова «от ложа смерти пустился колесить по городу».

Рано утром 30 ноября на стенах столицы появилось воззвание Совета управления, так называемого «законного» правительства. Оно сообщало о включении в состав совета нескольких граждан, пользующихся репутацией патриотов, во главе с князем Чарторыским. Воззвание призывало население сохранять спокойствие и порядок. О том, что произошло, оно выражалось следующим образом: «Столь же печальные, как и неожиданные происшествия вчерашнего вечера…» Было очевидно, что политическое бездействие повстанцев оставило свободу действий лагерю контрреволюции. Члены правительства в течение прошедшей ночи умоляли Константина, чтобы он силой подавил восстание. Он ответил, что поляки должны решить этот вопрос сами. Польские аристократы взялись за это дело. В течение нескольких следующих дней они морочили голову обществу патриотическими тирадами, а тем временем последовательно стремились к разоружению революционных элементов.

С запозданием спохватившись, Лелевель стремился исправить ход событий. Он отправился на заседание правительства и, принятый его членами, объяснял им, что восстание является национальным делом, что его целью должно быть объединение всех частей прежней Польши. На следующий день, 1 декабря, в замке собралось десятка полтора депутатов сейма, случайно оказавшихся в Варшаве. По предложению Лелевеля было решено обратиться к правительству, чтобы оно устранило из своего состава лиц, не заслуживающих доверия, включив в правительство нескольких членов посольской палаты. Это вновь был шаг не вполне последовательный, что немедленно использовал министр Любецкий, наиболее ловкий из деятелей контрреволюции. По его предложению в отставку подали два члена правительства, известные своим низкопоклонством в отношении царя, и было решено кооптировать четырех представителей сейма, в их числе Лелевеля. По мнению Любецкого, Лелевеля, изолированного в правительстве, было легче держать в руках, чем Лелевеля вне правительства, стоящего во главе оппозиции.

Кабинетный ученый вошел в эту ловушку, не отдавая себе отчета в последствиях своих действий. Он сразу втянулся в дискуссию о целях революции: выступили ли повстанцы в защиту нарушаемой конституции, или добиваясь присоединения к королевству «захваченных» восточных провинций, или с мыслью о полной независимости? Любецкий рекомендовал не предрешать событий, пока сейм не примет решений; путем переговоров можно будет многое выторговать у Николая. В действительности целью Любецкого была ликвидация конфликта путем

переговоров, между тем шансы революции зависели от ее решительных наступательных действий.

Аргументом, говорящим в пользу переговоров, был тот факт, что великий князь Константин стоял еще в предместье Варшавы с несколькими тысячами русских войск и верных ему польских частей. 2 декабря к нему отправилась депутация, в состав которой входили Чарторыский, Любецкий, Островский и Лелевель. Последний высказался за то, чтобы Константин как можно скорее оставил королевство, — так в конце концов и было решено. Таким образом была пресечена возможность дальнейших контактов польской контрреволюции с братом царя, но и потеряна возможность разбить Константина, взять его в плен — словом, сжечь мосты за собой.

Об этом сжигании мостов, о развитии сил революции думали варшавские конспираторы. Стараниями Мохнацкого вечером 1 декабря был основан революционный клуб, а его председателем заочно был избран Лелевель. 2 декабря Мохнацкий выступил в клубе с гневным осуждением Совета управления; он требовал создания нового, революционного правительства и немедленного начала борьбы с силами царизма. Вооруженная толпа народа подошла к зданию правительства, группа членов клуба ворвалась в зал заседаний и представила свои требования. Напуганные члены совета обещали рассмотреть их доброжелательно — до свержения правительства дело не дошло.

Присутствовавший при этом событии Лелевель хранил молчание: он не поддержал позиции правительства, в составе которого заседал, и не поддержал также представителей клуба, которые избрали его своим председателем. Его поведение оставляло в высшей степени двусмысленное впечатление. А между тем намерения Лелевеля были ясными: он хотел предотвратить внутренний конфликт, он надеялся, что клуб заставит аристократию выступить на стороне революции. Лелевель считал, что Чарторыский и ему подобные выступят на стороне нации, поскольку у них не будет другого выхода. Вслед за тем он явился на заседание клуба приветствуемый возгласами: «Да здравствует великий Лелевель, защитник родины!» Он выступил смущенный, худой, еще более бледный, чем обычно, на нем был старый сюртук, короткие старомодные брюки, высокие сапоги. В своей речи он рекомендовал «чрезвычайную умеренность, чрезвычайную осторожность и полное доверие к совету». Он защищал перед членами клуба своих коллег по правительству, в особенности генерала Хлопицкого; Юзеф Хлопицкий был — трудно у него отнять — бравым солдатом, но это был решительный противник революции. Поступки Лелевеля

свидетельствовали о том, что он не имел ни малейшего понятия о задачах революционной деятельности.

Он бросил свой авторитет на чашу весов в защиту контрреволюционеров. Он поставил на своем в том смысле, что контрреволюционеры публично высказались за восстание. Но именно это позволило им удержать власть в своих руках.

5 декабря Хлопицкий объявил себя диктатором. Его первыми действиями были роспуск клуба и разоружение жителей столицы. Хлопицкий публиковал патриотические воззвания, чтобы удержаться у власти, а одновременно направил Любецкого в Петербург с поручением добиваться почетной капитуляции. Таким образом, контрреволюционерам не удалось задушить восстание в зародыше. Но во главе восстания остались люди, которые были ему враждебны, а следовательно, не были в состоянии обеспечить его победу. Такой результат был не в малой мере следствием тактики Лелевеля.

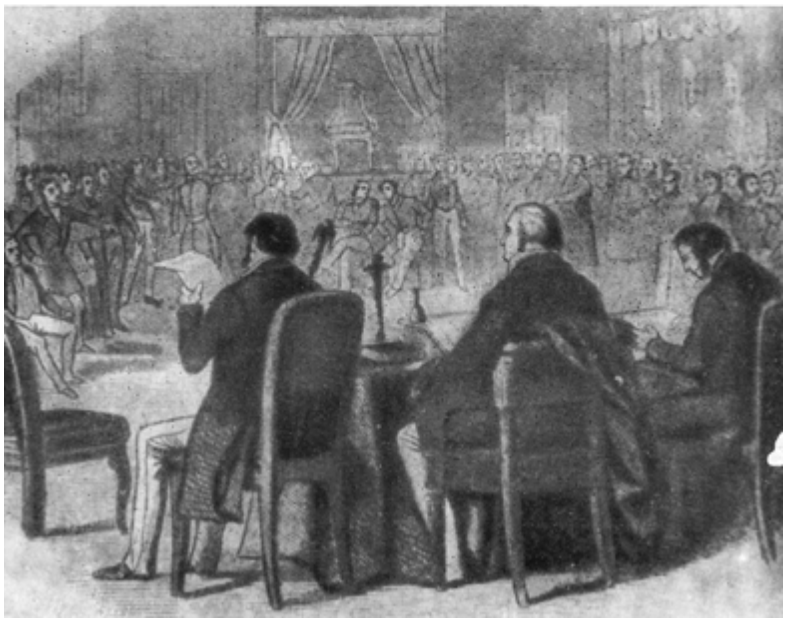
Диктатор назначил его исполняющим обязанности министра религиозных культов и народного просвещения. Лелевель со всей добросовестностью занялся своим ведомством, однако в данный момент это было не самое важное ведомство. Общественное мнение требовало усиления армии и наступления на Литву; Хлопицкий не допускал расширения армии, бездействовал, готовил капитуляцию. Лелевель сносился с сеймовой оппозицией, надеясь, что сейм заставит диктатора действовать энергичнее. Но ему не приходило в голову стать во главе оппозиции и низложить диктатора, вредность которого ему была уже ясна.

Сейм собрался 18 декабря и в обстановке всеобщего энтузиазма провозгласил восстание национальным. Однако тут же он подтвердил диктаторские полномочия Хлопицкого, не требуя от него отчета в его действиях, ни даже декларации об его намерениях. Сам Лелевель, хоть и неохотно, голосовал за диктатуру. Ему было поручено написать от имени сейма манифест к нации. В этом манифесте он перечислил все обиды, которые причинил полякам царизм, он не забыл подчеркнуть, что поляки не ведут войны с русским народом, к которому испытывают братские чувства. Но зато он ни словом не коснулся — он, республиканец и демократ! — каких-либо социальных вопросов, которые могли бы сделать восстание делом всей нации. Это была неизменно одна и та же политика — привлекать шляхту к участию в революции хотя бы ценой искажения облика самой революции.

Адам Чарторыский.
Литогр. Вийена.

Юзеф Заливский.
Рис. Ш. Базена,
литогр. Вийена.

Заседание сейма.



Так прошло бесплодно более шести недель со времени взрыва 29 ноября. В столице возрастало возбуждение и беспокойство. Новые органы печати, пользуясь отменой цензуры, все острее нападали на диктатора. Словом, формировался лагерь левого повстанческого течения, состоявший главным образом из интеллигентской молодежи, связывающей лозунг борьбы за

независимость с требованиями социальной реформы. В этих кругах по-прежнему ссылались на авторитет Лелевеля. По Варшаве носились слухи, что профессор-радикал вот-вот свергнет Хлопицкого и сам станет диктатором. В результате 11 января 1831 года Хлопицкий приказал арестовать Лелевеля, говоря, что отдаст его под военный суд и расстреляет. Доверенные лица диктатора убедили его, что это был бы акт насилия, не оправданный какими-либо доказательствами вины. В результате через 24 часа Лелевель был освобожден. И арест и освобождение он принял с одинаковым «флегматичным стоицизмом».

Несколько дней спустя из Петербурга последовал царский ответ на предложение переговоров. Царь Николай требовал от бунтовщиков-поляков безоговорочной капитуляции. Рассеялась иллюзия, что у монарха удастся выторговать хотя бы гарантию конституционных свобод. Хлопицкий отказался — от диктатуры. Образование новой власти зависело теперь от сейма.

Непосредственным следствием падения диктатуры было восстановление в Варшаве клуба, на этот раз под названием Патриотического общества. Руководимый Мохнацким клуб поставил теперь своей целью оказание нажима на сейм с целью создания действительно революционной власти. Председателем Патриотического общества был снова избран Лелевель — таким образом он еще раз оказался в двусмысленной ситуации члена сейма и вождя антисеймовой оппозиции. Клуб требовал, чтобы обе палаты сожгли мосты за собой, чтобы они низложили царя Николая. 25 января в Варшаве была организована большая уличная манифестация в честь казненных Николаем декабристов. Она имела выдающееся символическое значение, свидетельствуя о том, что поляки восстали для борьбы против царизма, но не против русского народа. Вместе с тем манифестация была орудием давления на сейм. На Замковой площади стояли толпы людей, что могло обернуться грозной опасностью. Отчасти под воздействием патриотического подъема, отчасти напуганные позицией варшавских масс, члены палат приняли без голосования решение о лишений польского трона Николая I и его династии. Теперь уже жребий был брошен. Судьбу восстания должна была решить война.

Подписывая решение о низложении, князь Чарторыский шепотом сказал окружающим: «Вы погубили Польшу!» Тем не менее он подписал решение, поскольку в противном случае он оказался бы — он сам, как и весь его класс, — за рамками национального общества. Подписал — и два дня спустя был избран председателем Национального правительства. Это был удивительный выбор: во главе правительства был поставлен

человек, который ни в малейшей мере не верил в необходимость и в успех начатой борьбы.

5
Национальное правительство

В течение нескольких дней после принятия решения о низложении Николая I сейм принял статут о высших руководящих органах восстания и избрал правительство. Статут этот был странным, и состав правительства неожиданным, а между тем и то и другое было логическим следствием того коренного противоречия, в котором оказалось восстание.

Сейм был представительством землевладельческой шляхты, которая не хотела восстания, но присоединилась к нему под нажимом общественного мнения. Сейм хотел, чтобы в нем видели выразителя воли всей нации, поэтому он создал коалиционное правительство, состоящее из представителей разных направлений. Сейм опасался, однако, как бы это правительство не начало проводить собственную политику, поэтому он связал его различными предписаниями и поставил рядом с ним отдельную власть — главнокомандующего, назначенного сеймом, а следовательно, независимого от правительства. Генералитету господствующий класс мог доверять, военное командование должно было быть той силой, которая держала бы в страхе и крестьянские массы, и неспокойный варшавский плебс. А на то обстоятельство, что генералитет отнюдь не испытывал большой охоты вести войну с царизмом, на это в тот момент не обращали внимания.

Ключевым моментом нового порядка управления было положение, согласно которому главнокомандующий имел право заседать в составе правительства, когда в повестку дня включались военные дела. В этом случае, однако, дабы число участвующих в заседании не превышало пяти, зал заседаний должен был покидать член правительства, «имеющий менее всего шаров», то есть тот, кто при выборах получил менее всего голосов. Создавался таким образом пост неполноправного члена правительства, и именно этот пост предназначался для Лелевеля. Председателем правительства, как и ожидалось, был избран Чарторыский. Среди четырех членов правительства был еще один консерватор — Станислав Бажиковский. Два других члена правительства — Винцентый Немоёвский и Францишек Моравский — принадлежали к либеральному центру, так называемой калишской партии (к ней относились главным образом депутаты из Калишского воеводства). Последним, пятым, так называемым выходящим членом правительства стал

Лелевель. Таким образом формально правительство представляло все общественные течения — и все они были ответственны за политику правительства. Фактически же Лелевель входил в состав правительства скорее в качестве заложника, чем члена. Конечно, он не раз мог склонить чашу весов на сторону «калишан», если они в чем-либо расходились с Чарторыским, но Лелевель не мог и мечтать о том, чтобы провести в правительстве какое-либо собственное мнение. Смелый и последовательный политик сразу бы отверг такое унизительное положение. Лелевель же оставался на этом посту семь с половиной месяцев, все время убеждая себя, что своим присутствием он удерживает правительство на революционном пути. В то же время он не отказался и от поста председателя Патриотического общества, то есть главы внесеймовой оппозиции. И снова это должно было означать, что председатель Патриотического общества воздействует побуждающе на правительство, а член правительства Лелевель воздействует умиротворяюще на Патриотическое общество. Подобная запутанная ситуация приносила, разумеется, лишь вред делу восстания.

5 февраля 1831 года границу королевства перешла русская армия численностью в 140 тысяч солдат во главе с фельдмаршалом И. И. Дибичем. Главнокомандующим польской армии был назначен князь Михал Радзивилл, подставная фигура, кандидат Хлопицкого, который за такой ширмой согласился руководить обороной. Хлопицкий решил дать под Варшавой одно генеральное сражение и после почетного поражения капитулировать. Битва состоялась 25 февраля под Гроховом, сейчас это восточное предместье Варшавы. Польское войско целый день противостояло превосходящим силам противника, а затем отступило в город, на левый берег Вислы. Однако Дибич понес такие значительные потери, что не рискнул форсировать водный рубеж и отступил от города, намереваясь обойти его с юга. В военных действиях наступил перерыв, продолжавшийся несколько недель.

Хлопицкий был под Гроховом тяжело ранен и с честью сошел с политической арены, к чему он и стремился. Сейм избрал главнокомандующим генерала Яна Скшинецкого. Он предпринял в апреле наступательные действия и одержал несколько эффектных побед над корпусом Розена. Эти победы были заслугой главным образом генерала Игнация Прондзиньского, самого способного из польских штабных офицеров. Они существенно подняли настроение общества и укрепили также популярность главнокомандующего. Но Скшинецкий не предполагал их использовать. Лично храбрый, он не блистал

талантом военачальника, к тому же был человеком тщеславным, властолюбивым и абсолютно лишенным веры в возможность победы. Он решил во что бы то ни стало избегать генерального сражения, чтобы сохранить регулярную армию до ожидаемой интервенции западных держав. Кроме того, он видел в этой армии силу, сковывающую в самой Польше революционные элементы. С мая до августа Скшинецкий лишь имитировал наступательные действия, сознательно вводя в заблуждение общественное мнение; в действительности же он пребывал в преступной бездеятельности.

Для успеха борьбы с царизмом необходимо было поднять миллионные массы нации, то есть прежде всего крестьянские массы. Лелевель помнил об этом и еще в феврале 1831 года представил в сейм проект, согласно которому правительство награждало бы крестьян, принимающих участие в войне, земельными наделами в казенных имениях. Само правительство по инициативе либеральной калишской партии представило тогда палатам иной проект — замены барщины оброком (чиншем), разумеется, также лишь в казенных имениях. Лелевель высказал в печати свое личное мнение: очиншевание — это недостаточная реформа, крестьяне должны стать полноправными владельцами земли. Правительство пойдет по этой линии в своих собственных имениях. То же самое должно произойти и в частновладельческих имениях. Но «никакой статут не должен в это вмешиваться, а лишь собственное гражданское убеждение, что так будет лучше и что это соответствует обоюдным интересам господ и крестьян…».

Весьма скоро стало очевидно, как наивна была эта утопия. Узко понимаемые классовые интересы отнюдь не подсказывали землевладельцам отказ от барщины. Более того, они побуждали их противиться даже ограниченной оброчной реформе в казенных имениях. Соответствующий правительственный законопроект вызвал в палате множество замечаний и после многодневной дискуссии был снят с обсуждения. Высшая повстанческая власть сознательно и цинично пренебрегла интересами крестьянства. Это неминуемо должно было сказаться на отношении народных масс к развертывающейся войне.

Бессильный в правительстве и в сейме, Лелевель возлагал теперь больше надежд на Патриотическое общество. Это была довольно аморфная, преимущественно интеллигентская организация, ограничивавшаяся лишь проведением дискуссионных собраний, на которых критиковали политику правительства и ход ведения войны. 29 мая 1831 года, в «полугодовщину» восстания Лелевель выступил в обществе с

речью о двух целях восстания, то есть об отвоевании независимости и о социальной революции. Под этой последней он понимал «улучшение положения всех классов нации». Это звучало общо; в действительности Лелевель не имел еще никакой программы радикальной перестройки общества. В Патриотическом обществе сформировалась уже группа радикалов (Тадеуш Шимон Кремповецкий, Ян Людвик Жуковский, Юзеф Козловский, Ян Чиньский, Александр Казимеж Пулаский и др.), которые говорили о наделении крестьян землей путем принудительной реформы и даже — в духе сенсимонизма — об ограничении некоторых форм частной собственности. Эти крайние деятели общества выходили из-под влияния Лелевеля и упрекали его за то, что он сотрудничает с контрреволюционным правительством. Одновременно коллеги по правительству подозревали Лелевеля в том, что он готовит «уличные беспорядки», планирует кровавые убийства по образцу французской революции. Упорство Лелевеля в сохранении средней линии лишало его остатков доверия, каким он мог пользоваться в правительстве или у радикалов.

В конце мая Скшинецкий проиграл по собственной вине битву под Остроленкой, и это окончательно определило его враждебность к делу восстания. Главнокомандующий задумал подавить оппозицию, восстановить диктатуру и возобновить переговоры о капитуляции. Его сторонники в сейме выступили с требованием реорганизации правительства; они демагогически утверждали, что все беды оттого, что правительство, составленное из представителей различных направлений, не обеспечивает динамичного руководства; острее всего, разумеется, атаковали Лелевеля. Однако он пропускал мимо ушей оскорбления консервативной прессы; чем настойчивее требовали его отставки, тем упорнее он держался за свое место в правительстве. Он попросту не хотел добровольной отставкой облегчить задачу противникам. Кампания в сейме за реорганизацию правительства закончилась ничем. Центристы — калишская партия — испугались диктаторских замашек Скшинецкого, предложение его сторонников не получило большинства; временно все в правительстве осталось по-старому.

Одним из аргументов, выдвигавшихся против Лелевеля в печати и на форуме сейма, было то, что присутствие в правительстве этого радикала компрометирует Польшу в глазах Европы, что западные державы не придут Польше на помощь, пока ее будут подозревать в революционных тенденциях. Это были упреки весьма наивные, если не сознательно провокационные. Западные державы, то есть Франция и Англия,

извлекали выгоду из польского восстания. В течение тех десяти месяцев, пока армия Николая I была скована на Висле, Англия и Франция могли решить по своему усмотрению вопрос о независимости и нейтралитете Бельгии. Однако отсюда никак не следовало, что правительство лорда Грея или правительство Луи-Филиппа думали о помощи полякам. Оба эти буржуазные государства боялись войны, которая могла оживить революционные тенденции не только в Центральной Европе, но и в их собственных странах.

Дипломатией Национального правительства руководил князь Адам Чарторыский. Единственный шанс восстания он видел в получении Польшей помощи извне, причем не от далекой Франции, а от соседней Австрии. Несколько раз через доверенных агентов Чарторыский выступал с предложением польской короны для одного из габсбургских эрцгерцогов взамен за военную помощь против России. И эти расчеты также были иллюзорны. Венское правительство, разумеется, могло испытывать удовлетворение в связи с ноябрьским восстанием, поскольку оно сковывало Россию, с которой Австрия конкурировала на Балканах. Однако, с другой стороны, стремление Польши к независимости было по своей сути революционным движением, которое угрожало Габсбургской монархии. В Вене, может быть, и ничего не имели против того, чтобы восстание продолжалось, но, наверное, не желали его победы.

Свои дипломатические шаги Чарторыский предпринимал самостоятельно, стараясь особенно скрыть их от Лелевеля. Дело было не только в том, что он подозревал Лелевеля в ведении двойной игры, в антиправительственных заговорах. Он должен был отдавать себе отчет в том, что его дипломатические комбинации не получат поддержки у Лелевеля. Как и все поколение шляхетских революционеров, Лелевель трактовал польский вопрос идеально. Поляки восстали в защиту свободы, их войска заслоняли Европу от мести царя Николая, защищали свободу немцев, итальянцев, французов и бельгийцев. Лелевель добавлял также: свободу русских. Во время пребывания в Вильне Лелевель завязал много дружеских связей с русскими, главным образом в научных кругах, его охотно цитировали в декабристской среде, и он сам с симпатией относился к движению декабристов. В период ноябрьского восстания он всегда подчеркивал, что оба народа — польский и русский — равно заинтересованы в низвержении царизма. Лелевелю принадлежала также мысль размещения на аванпостах польских войск в пропагандистских целях флажков с надписью на польском и русском языках: «За нашу и вашу свободу!» Тогда этот призыв

не получил отклика, но в последующие десятилетия его подхватывали все громче все более многочисленные круги не только польских, но и русских революционеров. В XX веке этот лозунг «За нашу и вашу свободу!» стал девизом освобожденных и побратавшихся народов — советского и польского. Именно теперь мы можем оценить все глубокое значение выдвинутого Лелевелем лозунга.

Повстанческое знамя 1831 г. Гостыньского повета Мазовецкого воеводства с надписью: «За нашу и вашу свободу!»

Штурм тюрьмы в ночь на 29 ноября 1830 г. Акватинта Ф. Х. Дитриха.

Восстание клонилось к упадку, намеренно удерживаемое в бездействии пораженцем-главнокомандующим. Паскевич, принявший после смерти Дибича командование царской армией, форсировал Вислу ниже Варшавы и угрожал ей теперь с запада. Потерпело поражение восстание в Литве, а посланные туда польские регулярные войска были вытеснены за прусскую

границу. Чарторыский пришел к убеждению, что Польшу может спасти лишь выступление Австрии. Он составил отчаянную ноту к венскому правительству, заявляя в ней, что польский народ отдает себя под опеку императора Франца I, а если бы Национальное правительство подозревали в революционных тенденциях, то все его члены готовы уступить свое место лицам, пользующимся большим доверием венского двора.

Этот документ, составленный в кругу доверенных лиц Чарторыского, был согласован с деятелями сейма и подписан четырьмя членами правительства. 4 августа во время заседания правительства один из секретарей подсунул этот документ для подписи Лелевелю, как если бы речь шла об одной из многочисленных второстепенных бумажек. Прочитав, Лелевель с возмущением отбросил ноту. Ведь она была отрицанием всего смысла и целей революции. Не для того «бельведерчики» и подхорунжие бросили вызов северному царю, чтобы отдаваться в рабство другому императору, отдавать себя на произвол олицетворения реакции — канцлера Меттерниха. Вторично призванный подписать ноту Лелевель вскричал, что не подпишет ее. Чарторыский с возмущением бросился к нему, Лелевель также сорвался с места. Подавляемые в течение нескольких месяцев неприязнь и подозрения внезапно вырвались наружу: 60-летний князь и 45-летний профессор бросились друг на друга, сцепились, начали борьбу. Вот как сам Лелевель спустя почти тридцать лет описывал эту сцену: «Бросается ко мне Чарторыский, мы схватываемся разъяренные. Плихта и Кунатт (секретари) бегом из зала, три других виновника — коллеги еще ниже зарыли носы в лежащие перед ними бумаги, а мы, разозленные, — друг другу: «Что ты имеешь против меня?» Я ему свои претензии, к чему ведут такие действия, об ответственности. Хотя мы отпустили друг друга, но еще долгое время ощущали горечь сказанных слов». Два борца должны были ощутить нелепость ситуации. Они отпустили друг друга — заседание правительства было прервано.

Казалось несомненным, что после этого происшествия правительство не может оставаться в неизменном составе. По совету центриста Немоёвского было решено ради приличия замолчать весь инцидент. Два противника — Чарторыский и Лелевель — обязались представить, каждый независимо от другого, в письменном виде свои «кредо». Оба эти документа должны были быть переданы сейму как свидетельство различия взглядов, доказывающее необходимость смены правительства. Сейму в соответствии с законом принадлежало право решения.

Чарторыский уже 5 августа представил краткую декларацию. В ней говорилось, что поляки восстали для того, чтобы добиться

независимости. «Стремясь к этой единственной и великой цели, мы отнюдь не должны отдавать себя во власть так называемой социальной революции, итогом которой стало бы разделение сил и мнений, а следовательно, ослабление действенной силы нации. Завоюем сначала свое существование, станем прочно на ноги, обеспечим себе независимость, а потом у нас будет время радоваться жизни и думать о том, как организовать наше будущее. Прежде всего надо жить». Далее глава правительства доказывал, что без помощи Австрии Польша не добьется независимости.

Лелевель представил свой ответ лишь 10 августа. Вначале он давал объяснения по поводу последнего происшествия, заявлял, что признает чистоту побуждений князя Адама и что он не желал оскорбить его. Но далее он заявлял: «Я не могу указать в истории пример, когда бы национальное восстание могло обойтись без революции, и не думаю, чтобы можно было убедить правительства и державы, будто наше восстание польской нации могло бы обойтись без социальной революции, ибо если мы не хотим сознательно отдаться во власть социальной революции, то мы попадем в ее власть помимо своей воли, по самой природе нашего положения…» Ради того, чтобы привлечь к себе иностранные монархии, «мы соглашаемся пожертвовать гораздо большим — нашими правами, нашей свободой, свободой печати, нашей независимостью, словом, предлагаем лишь заменить рабство на, может быть, еще более тяжкое! Меня это глубоко печалит. Пойдя на подобное изменение нашего положения, мы, разумеется, не получили бы независимости (ибо я не могу представить ее себе без развития общественных принципов), а лишь добились бы автономии и получили бы рабство. Убежденный в этом, я не могу обманывать себя политикой Австрии…»

Эти две декларации, Чарторыского и Лелевеля, стоит сравнить друг с другом, поскольку они показывают, насколько различно было понимание слова «независимость» в тех двух лагерях, которые вступили в союз для борьбы с царизмом, — среди землевладельческой шляхты и среди шляхетских революционеров. Правда, что и эти последние не умели четко определить, в чем должна была заключаться та «социальная революция», которую они считали необходимым условием победы. Лелевель в цитированной выше декларации упоминал лишь в общей форме, что «во всем этом развитии событий доля сельского населения должна быть облегчена». Однако нам известно, что до самого конца восстания Лелевель не выработал ясного взгляда на рамки необходимой крестьянской реформы и

на способ ее проведения. Левые силы восстания, которыми руководил Лелевель, правильно ощущали внутренние потребности восстания. Но они совершали ошибку, идя на сотрудничество с противниками революции, что на практике было равносильно переходу под начало контрреволюционеров. Особенно показательным был пример Лелевеля, уже семь месяцев заседавшего в коалиционном правительстве. По первоначальной мысли это сотрудничество должно было заставить контрреволюционеров принять участие в движении. А в результате контрреволюция овладела и правительством, и дипломатией, и главным командованием — с величайшим ущербом для национального дела.

Представление деклараций двумя конфликтующими членами правительства должно было, как мы помним, стать исходным пунктом для перестройки правительства. Однако оно не имело никаких последствий. Члены правительства молчаливо признали инцидент 4 августа несуществующим. Они уже не говорили ни об общей, ни о частичной отставке и по-старому решали текущие дела. Это не значит, что утраченное взаимно доверие было восстановлено. Как раз наоборот, правительство существовало как бы лишь по инерции, а его члены не решались ускорить его распад.

Кризис дозревал вне правительства, вскоре он должен был ускорить и падение правительства, и катастрофу восстания.

6
15 августа

2 августа армия Паскевича овладела Ловичем, стратегически важным узлом дорог в 80 километрах западнее Варшавы. Город был сдан без борьбы, противнику были оставлены склады продовольствия и военного имущества. Скшинецкий с главной армией занял позицию над речкой Бзурой, не проявляя намерения переходить в наступление. Бездеятельность главнокомандующего начала наконец возмущать и тех представителей правых сил, которые еще отвергали мысль о капитуляции. В сейме все громче звучали голоса о том, чтобы сместить Скшинецкого с его поста, влиятельная калишская партия искала нового кандидата в главнокомандующие.

Среди генералитета у Скшинецкого было много соперников, много людей более способных, чем он, и более готовых к дальнейшему ведению войны. Но весь генералитет объединяла неприязнь к штатским, к их вмешательству в вопросы стратегии. Армия, по мнению высших офицеров, была нужна не только для войны с Паскевичем, но и для поддержания внутреннего порядка.

В течение уже ряда недель настроения Варшавы вызывали беспокойство имущих классов. Плебс столицы, как он был сам убежден, осуществил революцию 29 ноября, обеспечил ее успех, с самого начала солидаризировался с ее целями. Он многим жертвовал для дела восстания. В городе в связи с застоем в промышленности и торговле возрастала нужда; правительству не хватало средств для обеспечения бедноте заработка в военной промышленности или на фортификационных работах. В массах росло раздражение, все чаще раздавались голоса, что в главном командовании и правительстве свила себе гнездо измена. Уже в конце июня на этой почве возникли беспорядки на Замковой площади, которые на этот раз усмирил своим личным вмешательством все еще весьма авторитетный князь Чарторыский.

Настроения городских низов начинали все более учитывать деятели левого крыла Патриотического общества, приглашая народ к участию в своих заседаниях, говоря о скором свержении правительства и смене главнокомандующего. Именно в этот момент Скшинецкий, умелый тактик во всем, что не касалось ведения войны, заявил, что временно передает обязанности главнокомандующего генералу Генрику Дембиньскому. Дембиньский был популярным генералом воинственной

внешности, который отличился в войне и, бесспорно, не был капитулянтом, зато он был человеком с узким политическим кругозором и завзятым консерватором: он вполне серьезно подозревал Лелевеля в намерении воздвигнуть в Варшаве гильотину или переколоть кинжалами мнимых врагов революции. Приняв 13 августа командование, Дембиньский объявил армии, что в ведении войны будет следовать линии своего предшественника. На следующий день он покинул лагерь над Бзурой и начал отводить войска к Варшаве, чтобы «навести порядок» в столице, усмирив радикалов.

Известие об этом вызвало возмущение в городе. Во второй половине дня 15 августа на заседании Патриотического общества развернулась острая дискуссия, в ходе которой было решено обратиться к правительству с решительным осуждением методов ведения войны. Делегация членов общества отправилась в резиденцию правительства, увлекая за собой толпу народа. В зал заседаний ворвались полтора десятка человек; от их имени Пулаский и Чиньский осыпали правительство упреками, в особенности требуя отставки изменников генералов. Чарторыский старался успокоить демонстрантов, другие члены правительства говорили им о неуместности их поведения. Один лишь Лелевель не двинулся с места и хранил молчание. Его позиция была более ложной, чем когда-либо, но он так и не решился ни заявить, что принимает ответственность за действия членов правительства, что ручается за чистоту их намерений, ни открыто перейти на сторону демонстрантов, облегчить им свержение правительства. Пассивность Лелевеля, столь характерная для польских левых сил в 1831 году, наложила свой отпечаток на дальнейшее развитие событий этого дня. Демонстранты покинули зал; они положили предел функционированию правительства, но не подумали о создании нового правительства. Чарторыский верхом, переодетый, покинул Варшаву, отправляясь под защиту армии; в него стреляли, когда он проезжал заставу города. Разбежались и другие члены правительства. «Я остался один, — рассказывает Лелевель, — удивленный холодностью коллег». Надо сказать, что холодность эта была не безосновательной.

Далее события развивались стихийно. Толпа отправилась в Замок; ворвалась в темницу, в которой содержалось несколько высших офицеров, подозреваемых в сношениях с противником, и подвергла их самосуду. Затем из камер вытащили разных мелких шпионов из тайной полиции Константина и Новосильцева и также повесили их на фонарях. В течение многих месяцев общественное мнение безуспешно требовало предания этих шпионов суду — и именно небрежности повстанческих властей

эти темные субъекты были обязаны своей неожиданной гибелью. В эту ночь жертвами самосуда стало около 30 человек. Левые деятели Патриотического общества ничего не сделали, чтобы руководить движением или использовать его в своих целях. Лелевель лишь пошел убедиться в том, что князю Чарторыскому лично не грозит опасность, а узнав, что он уже покинул город, вернулся домой и лег спать. Естественные руководители революции оставили в эту ночь свободу действий провокаторам. В интересах лагеря контрреволюции было напугать имущие классы призраком «беснующейся улицы», а тем самым склонить их к согласию на капитуляцию. Особенно двусмысленную роль играл в это время генерал Ян Круковецкий, который в различных кругах изображал из себя «спасителя отечества», способного поддержать порядок и руководить войной до победы. Круковецкий сумел внушить доверие даже некоторым из левых деятелей, в частности Мохнацкому. В этот момент варшавские беспорядки были для него как нельзя более кстати.

Утром 16 августа члены правительства собрались без Чарторыского. Лелевель составил проект воззвания с обещанием, что правительство в соответствии с требованием народа будет вести отныне революционную политику. Но он не получил поддержки центристов-калишан. Они были напуганы событиями последней ночи и теперь отшатнулись вправо. Их кандидат на пост главнокомандующего — генерал Прондзиньский — отказался принять этот пост. Национальное правительство вопреки голосу Лелевеля подтвердило назначение главнокомандующим Дембиньского, а затем подало в отставку.

События развивались быстро. 17 августа Дембиньский ввел в Варшаву отборные воинские части, разогнал Патриотическое общество и приказал арестовать его крупнейших деятелей. Он сам признает, что в какой-то момент собирался расстрелять без суда Лелевеля, однако в конце концов махнул на него рукой. Дембиньский опубликовал воззвание, в котором события 15 августа и все действия левых сил приписывал… царским агентам. В течение одного дня он оттолкнул от себя не только население Варшавы, но и всех тех, кто еще хотел продолжения борьбы.

Эти настроения создали условия для неожиданной карьеры Круковецкого. Сейм назначил его председателем правительства и предоставил ему почти диктаторские полномочия, которые ранее отказывался дать Чарторыскому. Круковецкий немедленно отстранил Дембиньского от командования, назначив на его место Казимежа Малаховского, почтенного человека, но абсолютно бездарного в военном отношении. В громких воззваниях Круковецкий заявлял, что теперь война будет вестись

решительно. В Варшаве он приказал расстрелять нескольких второстепенных участников самосуда 15 августа. Затем он отправил на далекое расстояние от Варшавы две сильные группы войск — одну на восток, другую на север, в места, свободные от противника, — и с ослабленным таким образом гарнизоном Варшавы пассивно ожидал штурма.

6 сентября 1831 года армия Паскевича, сокрушая героическую оборону Варшавы, захватила первую линяю обороны в предместье Воля. На следующий день Круковецкий сообщил сейму, что он начал с командующим царской армией переговоры о капитуляции. Возмутившаяся слишком поздно палата лишила Круковецкого, признанного повсеместно изменником, полномочий председателя правительства. Однако в городе царил полнейший хаос, и никто не хотел взять на себя его дальнейшую оборону. В эту ночь по понтонному мосту, переброшенному через Вислу, покидали город не только остатки побежденной армии, но и толпы гражданского населения, которые не хотели примириться с поражением. Среди этих толп шел, как и все, пешком Лелевель, «исхудалый, изможденный, бледный, с котомкой за плечами».

Вот как описывает его в момент ухода в изгнание один из мемуаристов: «Мне указали человека, спину которого согнули годы, а глаза состарил труд; в праздничном фраке и высоких венгерских сапогах, с котомкой за плечами и зонтиком в руке, он шел, терпеливо преодолевая усталость, и в немом изумлении оглядывался на Варшаву. Это был Иоахим Лелевель». Он оставил в Варшаве старую мать, которую ему уже не было суждено увидеть вновь; оставил свою библиотеку и все свои научные собрания. Он шел куда глаза глядят, может быть еще не зная толком, идет ли он для того, чтобы продолжать борьбу, или только для того, чтобы избежать мести неприятеля.

Польская армия насчитывала в этот момент еще около 60 тысяч превосходных солдат, а следовательно, больше, чем их было в строю в момент восстания 29 ноября. Но с того времени угас боевой порыв, угас в особенности у командования, которое никогда не испытывало повстанческого энтузиазма. Генерал Мацей Рыбиньский, назначенный теперь главнокомандующим, переписывался с Паскевичем по вопросу о капитуляции, не обращая внимания на протесты политиков и журналистов, которые еще хотели продолжать борьбу.

В течение нескольких следующих недель сейм заседал сначала в небольшом городке Закрочиме, севернее Варшавы, а затем в Плоцке. Лелевель все еще играл в сейме большую роль. Он выступил с предложением учредить «звезду стойкости» как памятный знак для тех, кто стойко нес до самого конца службу

для родины. Мысль сама по себе прекрасная, но свидетельствующая о том, что и Лелевель считал уже в этот момент историю восстания завершенной. В Плоцке он занимался также вместе с группой друзей составлением рекомендательных писем для деятелей левого направления, отправляющихся в эмиграцию. Эти письма, составленные по единому образцу, гласили: «Мы постановили обратиться к чувствам народов, друзей всеобщей свободы, чтобы они по-братски пожелали принять гражданина… Он пожертвовал всем, что только имел дорогого на родине, ради великих целей прогрессивного человечества. Народы должны оказать ему покровительство».

Польские патриоты были убеждены, как были убеждены в этом и капитулянты, что дальнейшее ведение войны было невозможно. Патриоты надеялись лишь, что вскоре возобновят войну благодаря помощи других народов Европы, поднимающихся против тирании. Лелевелю и его друзьям казалось в этот момент, что самые срочные дела и перспективы действия ждут их теперь в Париже. Таким делом должна была стать организация великого крестового похода народов против Священного союза. Они оставляли позади свой родной дом и своих близких, свое место работы и поле проигранного сражения. Они не оборачивались, наоборот, они рвались вперед, к новым трудам, к новым ждущим их иллюзиям и разочарованиям. 5 октября 1831 года корпус генерала Рыбиньского сложил оружие на прусской границе. 29 октября Лелевель, ехавший спешно и под чужим именем, прибыл уже в Париж.

В течение всей жизни Лелевеля как общественного деятеля период ноябрьского восстания был тем временем, которое раскрыло перед ним наиболее широкие перспективы действия. Голос прогрессивного общественного мнения, выражаемый устами интеллигентской молодежи, призывал тогда Лелевеля принять на себя руководство борьбой за реализацию той цели, которую он сам указывал, а именно объединение борьбы за независимость с социальной революцией. Ученому-историку оказалась не по плечу эта задача, он не сумел указать своим почитателям правильный путь действий, он не сумел также открыто противопоставить себя лагерю контрреволюции. В течение десяти месяцев он занимал половинчатую позицию, поддерживая фикцию сотрудничества сил, принципиально враждебных друг другу, и тем дискредитируя дело, представителем которого он был. Позиция Лелевеля в 1830–1831 годах, несомненно, уменьшала остроту борьбы между представителями имущих классов и теми силами, которые защищали интересы народных масс. Эта позиция постоянно

сковывала левые силы восстания.

Можно добавить, что ноябрьское восстание было периодом упущенных возможностей для всех политических группировок. Потерпели поражение контрреволюционеры, которые хотели задушить восстание в зародыше; и дипломаты, рассчитывавшие на помощь иностранных держав; и калишане, верившие в незыблемость параграфов конституции; и демократы, которые не умели сформулировать ясную и осуществимую программу социальной реформы. Как раз наиболее характерной чертой ноябрьского восстания было то, что его руководители не умели ясно определить для себя, к чему они стремятся и какими средствами они должны действовать. И именно в этом всеобщем недостатке концепции следует искать главную причину бесплодной растраты стольких шансов тогдашнего движения: превосходной армии, талантливых военачальников, всеобщего энтузиазма общества, симпатии, какой пользовалась тогда польская освободительная борьба в Европе.

В истории европейского революционного движения польское восстание 1830–1831 годов сыграло значительную положительную роль. Оно сковало почти на целый год силы держав Священного союза, а тем самым укрепило шансы национальных освободительных движений на западе Европы. Конкретно оно способствовало упрочению нейтралитета Бельгии и подъему революционных настроений не только на западе Германии, во Франции и в Италии, но и у чехов, словаков, венгров и южных славян.

Для самой Польши поражение 1831 года стало исходным пунктом дальнейших перемен. В эмиграции оказались представители различных политических направлений, и каждое из них по-своему старалось извлечь опыт из событий последнего года. Особенно активно этот анализ предпринимался левыми силами как в области идеологии, так и в отношении программы и тактики революционной партии. И вновь эти дискуссии в левых кругах касались оценки Лелевеля и роли, какую он сыграл в 1831 году, Лелевеля, который по-прежнему выдвигался на руководящее место в левом течении.

Нетрудно догадаться, что оценка Лелевеля в среде демократических деятелей, которые до недавнего времени внимали ему как оракулу, была теперь весьма критической.

7
На дорогах изгнания

Августовским утром 1833 года по дороге из Эврё в Руан через зеленую равнину Нормандии шел уверенным шагом одинокий путник. Это был человек в возрасте около пятидесяти лет, коренастый, немного сутулый, с густой черной шевелюрой и бледным, болезненным лицом, заросшим плохо причесанной бородой. На нем была синяя полотняная блуза, выпущенная поверх брюк, — обычная одежда французских рабочих. Он шел не слишком торопясь, срывая с придорожных кустов ягоды ежевики и останавливаясь поболтать со встречными. В первом городке по пути он зашел в кабачок выпить кружку пива и часок подремал за столом. В следующем городке он пообедал. В третьем, уже под вечер, он искал ночлег. В маленьком постоялом дворе ему сказали: «Мы принимаем только рабочих». Он отвечал: «Я такой же рабочий, как любой другой». Представляясь, он сказал, что его имя Бенуа (Бенедикт), а фамилия Иоахим. Он провел этот вечер с простыми людьми и выпил с ними несколько рюмок водки. Наутро хозяйка посчитала с него за ночлег полфранка, но он сказал, что это слишком мало, и добавил еще несколько су. Он приближался к Руану, столице провинции, большому фабричному городу над Нижней Сеной. В парижской гостинице он занял хороший номер и вышел осмотреть достопримечательности. Особенно его интересовал громадный позднеготический кафедральный собор; странник внимательно рассматривал каменные скульптуры портала: надев очки и напрягая зрение, он читал латинские надписи на надгробных плитах; вынув бумагу и карандаш, делал записи и срисовывал. Затем он осмотрел витрины букинистов и в конце концов уселся в публичной библиотеке и занялся чтением газет.

Эти занятия не особенно гармонировали с внешностью старого рабочего, путешествующего пешком по дорогам Франции. Вскоре, однако, загадка разъяснилась. Владелец гостиницы в тот же вечер попросил постояльца представить паспорт и направил его, как полагалось, в полицию. Не прошло и двух часов, как в гостиницу явился комиссар полиции в сопровождении дюжего жандарма. «Господин Иоахим Лелевель?» — «Да, — ответил путешественник. — Разве мой паспорт не в порядке?» — «Он в порядке, — признал комиссар, — но вам приказано покинуть границы Франции». — «Ну что же, завтра утром я отправляюсь далее, в Абвиль». Выходящего из гостиницы полицейского

задержал заинтересованный хозяин: «Что это за господин Лелевель?» — «Вы не знаете? Это один из видных деятелей польской революции».

Потребовалось целое сплетение необычных обстоятельств, чтобы Иоахим Лелевель, бывший член Национального правительства, был вынужден путешествовать пешком в чужой стране, к тому же под надзором полиции. Когда двумя годами раньше он прибыл во Францию, об этом трубили газеты, а левые силы страны приветствовали его как самого выдающегося представителя польской демократии. С особым вниманием к нему отнесся генерал Лафайет, ветеран Великой французской революции XVIII века, по убеждениям республиканец, на практике примирившийся с конституционной монархией. Лафайет возглавлял Франко-польский комитет, организованный для помощи ноябрьскому восстанию; секретарем этого комитета был Леонард Ходзько, писатель, уже давно осевший в Париже, ученик Лелевеля по Виленскому университету. Через Ходзьку Лелевель легко установил контакт с Лафайетом, с которым вскоре его связала тесная дружба. Лафайет был одним из руководителей оппозиции правительству Луи-Филиппа; благодаря его материальной и моральной поддержке Лелевель мог развить политическую активность.

Уже в декабре 1831 года в Париже был основан под его председательством Польский национальный комитет, чтобы «охранять национальные интересы и заботиться о судьбе покинувших родину поляков». Комитет занимался распределением собранных средств среди все увеличивавшегося круга эмигрантов, старался организовать их и выступать от их имени перед лицом правительств и общественного мнения Запада.

Каждая эмиграция, оставляющая страну в момент поражения, живет надеждой, что изгнание не будет долгим, что спустя немногие месяцы изгнанники вернутся на родину с оружием в руках. Так и участники ноябрьского восстания верили в то, что их роль еще не исчерпана. Они видели, что польское восстание было лишь звеном более широкого революционного движения, которое охватило Францию, Бельгию, Германию и Италию. Один за другим угнетенные народы поднимались на борьбу против объединения деспотов, называемого Священным союзом; поднимались под лозунгами конституции, равноправия и национального освобождения.

Их надежды оказались обманчивы. В 1830 году через Европу прокатилась волна политических переворотов, которая привела буржуазию к власти во Франции и Бельгии. Но эти перевороты не

подорвали системы абсолютизма в Центральной и Восточной Европе. На период почти двух десятков лет в Европе установилось политическое равновесие двух блоков: с одной стороны, конституционные монархии (Франция и Англия), с другой — Священный союз трех держав, разделивших Польшу (Россия, Австрия и Пруссия). Буржуазные правительства Западной Европы не поддерживали в этот период освободительных движений. Страшась в собственной стране сил революции, они не хотели новых войн и переворотов. В особенности король французов Луи-Филипп, «король-гражданин», поднятый на трон июльской революцией, искал хороших взаимоотношений со старыми монархиями «божьей милостью». Во Франции полякам сочувствовал главным образом «простолюдин» — ремесленник, рабочий и крестьянин; активно поддерживала их республиканская оппозиция. Но правительство, парламент, финансисты и значительная часть имущих классов видели в польских эмигрантах опасных возмутителей спокойствия. Правительство считалось с общественным мнением и не могло запретить полякам въезд во Францию, оно было вынуждено также установить для них постоянную денежную поддержку. Но оно поставило их под надзор, собрав в нескольких больших лагерях, и особенно противодействовало наплыву значительного числа эмигрантов в Париж.

Это существенно осложняло ситуацию Национального комитета. Предполагалось, что он сможет организовать во Франции польские вооруженные силы для совместной с французами освободительной войны. А между тем он должен был хлопотать о том, чтобы эмигрантам было дано право свободного передвижения во Франции, и защищаться перед планом отправки всех поляков в Иностранный легион в Алжир. Холодно отталкиваемый буржуазией, стоящей у власти, он тем более искал поддержки у руководителей оппозиции — таких, как Лафайет и генерал Могэн, а также у множащихся во Франции тайных республиканских организаций.

Не менее трудной оказалась позиция комитета в отношении соотечественников. Его не признавали «нотабли» эмиграции: экс-министры и экс-генералы, объединенные вокруг бывшего председателя Национального правительства князя Адама Чарторыского. Но и на противоположном, левом крыле подымалась оппозиция против Лелевеля. Группа самых горячих варшавских «клубистов» во главе с Тадеушем Кремповецким, Адамом Гуровским и ксендзом Александром Пуласким потребовала, чтобы Лелевель «декларировал перед Европой свои политические принципы и чтобы эта декларация была искренней

и смелой». Лелевель сомневался в основательности этих требований. Он считал себя демократом и республиканцем не худшим, чем его оппоненты. Но он видел, что масса эмиграции политически незрела и не может сразу объединиться вокруг радикальных лозунгов, поэтому он пробовал отодвинуть на более позднее время дискуссию вокруг программы. После трех месяцев этого лавирования, в марте 1832 года, крайне левое течение порвало с Национальным комитетом и основало собственную организацию — Польское демократическое общество.

Теперь началась пропагандистская баталия в провинциальных «лагерях», объединяющих большинство эмиграции. По ним разъезжали агенты Чарторыского, Лелевеля и Демократического общества, вербуя людей каждый на свою сторону. Большинство эмиграции составляли офицеры низших рангов, главным образом интеллигенты шляхетского происхождения. В душе горячие патриоты — иначе они не отвергли бы царской амнистии, — они не имели, однако, ясного представления о путях, ведущих к освобождению Польши. Они потеряли доверие к своим недавним военачальникам, но не приобрели его в отношении революционных принципов. Многим казалось, что путем выборов можно будет поставить во главе эмиграции комитет, состоящий из людей, достойных доверия, комитет, который объединит все направления. На протяжении всего 1832 года тянулись по этому поводу дискуссии и переговоры. Поздней осенью образовался наконец Комитет польской эмиграции под председательством генерала Юзефа Дверницкого. Популярный кавалерист, одержавший в феврале 1831 года победу под Сточном, он не имел четких политических взглядов, а среди его сотоварищей, избранных в комитет, не было единства мнений относительно методов действий. Комитет Дверницкого должен был по замыслу инициаторов его создания занять место радикального комитета Лелевеля, но лелевелисты не собирались добровольно очистить им место.

Через год после ухода в эмиграцию становилось ясно, что ни одна политическая организация не в состоянии объединить всех эмигрантов. Особенно терял почву под ногами комитет Лелевеля. Уже растаяли средства, собранные во Франции и других странах и предназначенные на помощь для поляков. Невелика была польза от адресов и воззваний, с которыми обращался комитет к парламентам Франции и Англии, к итальянцам, венграм, немцам, американцам. Наряду с этими явными выступлениями Лелевель устанавливал контакты и с другими подпольными организациями, находящимися во Франции, особенно с карбонариями. В Париже находился Высочайший шатер мира,

высшая власть тайного карбонарского интернационала. Он подготавливал всеобщее выступление угнетенных народов против европейских монархий. Однако на этой карбонарской почве Лелевеля опередили конкуренты с крайнего левого крыла; когда в Париже был организован тайный Национальный польский шатер, во главе его оказался Тадеуш Кремповецкий, один из главных деятелей Демократического общества.

В этот первый год пребывания на чужбине, как и в течение долгих лет, которые были впереди, важнейшим делом для Лелевеля являлся контакт с родиной. Рассчитывая на возобновление военных и революционных попыток, Лелевель посылал в Краков и Галицию своих надежных друзей — Валентыя Зверковского и Валериана Петкевича. Они должны были создать во всех частях разделенной Польши тайную организационную сеть. Мысль о близком восстании особенно поддерживал полковник Юзеф Заливский, один из известных инициаторов ноябрьского восстания. Заливский, человек честолюбивый и самоуверенный, к сожалению, также интриган и хвастун, провозглашал возможность и перспективность партизанской войны; он утверждал, что ему достаточно нескольких десятков людей, готовых на все, чтобы начать повстанческие действия. Уже в конце 1832 года в эмигрантских «лагерях» началась вербовка эмиссаров, которые тайно пробирались в Польшу для организации партизанских отрядов. Сам Лелевель отпускал средства на этот перелет «наших журавлей», как он называл эмиссаров в своей конфиденциальной переписке.

Так обстояли дела в декабре 1832 года, когда французская полиция неожиданно положила предел существованию Национального комитета. Уже довольно давно правительственные круги подозревали поляков в революционных начинаниях. В недавнем республиканском восстании в Париже в июне 1832 года принимало участие несколько эмигрантов в польских мундирах и с польским знаменем. Правительство не вмешивалось в политические споры между поляками, но оно остро реагировало на каждое выступление поляков во французских или международных делах.

В ноябре русский посол в Париже показал министру иностранных дел текст воззвания Национального комитета к русским. «Народы, стремящиеся к свободе, находятся между собою в союзе, — гласил этот документ. — Если вы заботитесь о своей свободе, то такой союз существует между вами и нами… Великая идея, рожденная на берегах Невы, идея федерации славянских народов, может быть осуществлена лишь благодаря их совместному возрождению». Посол возмущался тем, что король

французов допускает у себя подобные оскорбления другого монарха. Французское правительство было радо оказии угодить Священному союзу и в то же время выставить из Парижа группу иностранцев-радикалов. От Лелевеля потребовали объяснений. Председатель комитета признал, что он является автором воззвания, но отказался вести дискуссию по поводу его содержания. Несколько недель спустя все члены комитета получили из полицейской префектуры приказ покинуть город.

«Труды Национального комитета в течение целого года», как назвал сам Лелевель этот период своей деятельности, прервались вследствие полицейского запрета. Лелевель отдавал себе отчет в том, что для комитета такая почетная смерть была еще наилучшим выходом. Эмиграция быстро дифференцировалась в политическом отношении, и орган, претендующий на руководство всеми ее течениями, терял почву под ногами. Но Лелевель не принадлежал к числу людей, которые пассивно сносят нажим иностранной власти. Прекращая публичную деятельность комитета, он основал новый, тайный орган подобного состава специально для поддержки готовившихся партизанских действий Заливского. Этот руководящий орган должен был носить романтическое и символическое название «Месть народа».

Обеспечив, как он полагал, дальнейший ход начатого предприятия, Лелевель в канун нового, 1833 года выехал под Париж в деревню Ляграндж, где находилась сельская резиденция генерала Лафайета. Но Лелевель и не думал подчиняться запрету пребывания в столице. В Париже в это время готовилось возобновление польского сейма. Еще до падения Варшавы сейм принял решение, что он может продолжать свою деятельность за границей, если только соберется кворум, который составляли 33 посла и сенатора. Принимались меры к созыву в Париже этого кворума, что не было просто, поскольку не все послы отправились в эмиграцию. Сейм Королевства Польского был органом преимущественно землевладельческим, избранным перед революцией, под властью Николая. Тем не менее он мог считаться легальным органом, представительством Польши перед заграницей. Лелевель был готов поддержать созыв сейма тем более охотно, что враждебный лагерь Чарторыского противился созыву сейма, поскольку не мог рассчитывать на большинство голосов. А поскольку созыв сейма зависел от съезда 33 его членов, Лелевель не хотел пренебречь патриотическим долгом. Уже 3 января он тайно прибыл в Париж и принял участие в нескольких заседаниях.

Он утруждал себя, пожалуй, напрасно, поскольку из этого рудимента сейма ничего путного получиться не могло. Каждый

раз, когда открывалась возможность собрать в одном месте магическое число 33 посла и сенатора, группа, которая боялась остаться в меньшинстве, — в данном случае сторонники Чарторыского — покидала заседания и срывала их. Впрочем, даже если бы дело дошло до начала работы сейма, сомнительно, был ли бы этот сейм признан в эмиграции и считался ли бы кто-либо с его мнением.

Во всяком случае, «сеймовые поездки» Лелевеля вовлекли его в конфликт с полицией. Он несколько наивно представлял себе, что никто его поездок не заметит, и острил на эту тему в письмах. «Недавно, — писал он, — произошла небывалая шумиха: Л. появился в П. Забавные дела». Полиция, разумеется, не упускала Лелевеля из виду, а министр внутренних дел д'Аргу публично жаловался на него, приводя его в пример того, что полякам нельзя доверять и нельзя выпускать их из-под надзора.

Немного сконфуженный этой шумихой, Лелевель перестал посещать сеймовые совещания и замкнулся в Лягранже. Хозяев дома обычно не было: гость большую часть времени проводил в библиотеке. Один только раз он выбрался поохотиться на кроликов, о чем шутливо сообщал приятелю: «шесть королей мы убили, или пристукнули, или удушили, или застрелили». Кроме того, он писал по всем адресам письма: он нервничал из-за того, что в такой важный момент, когда на родине вот-вот начнется партизанская война, он находится в стороне, отрезанный от всего. Он жаловался Зверковскому: «Я писал в Лион и не получил ответа. Из Парижа, хотя некоторые письма пришли, на ряд наиболее существенных вопросов ответа нет. Наконец, и от тебя давно ничего не имею. Что это все значит? А потом будут упрекать, будут осуждать, скажут, что я бездействовал!.. Время бежит. Я дольше здесь отлеживаться не могу, нужно мне покинуть Лягранж. Поеду куда-либо еще».

Ему действительно предстояло путешествие, при этом скорее, чем он предполагал. 2 марта местный мэр отобрал у Лелевеля паспорт и заявил ему, что он должен будет перебраться куда-нибудь подальше от Парижа. Ему неофициально советовали переехать по собственной инициативе куда-нибудь миль за восемьдесят, тогда власти оставят его в покое. Лелевель возмутился: как, во времена наихудшего террора в Литве при Новосильцеве он мог ездить по всей России без разрешения, а здесь, во Франции, его хотят ограничить? Он заявил, что добровольно никуда не поедет. Продолжение можно было предвидеть: в Лягранж пришли жандармы и отвели Лелевеля под конвоем в префектуру в Мелюн. Оттуда уже повозкой, но опять-таки под присмотром жандармов его отправили в город Тур.

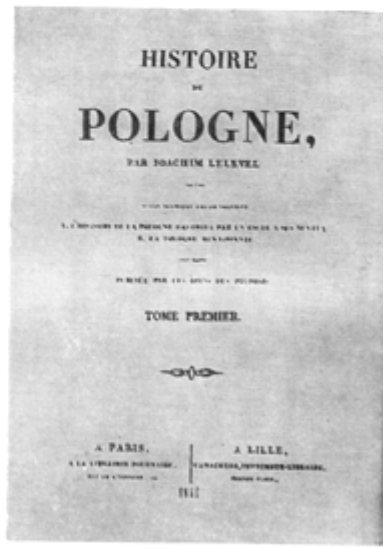
Здесь он оставался на свободе, но под надзором полиции. Лелевель направил в газеты остроумно составленный протест; он жаловался в особенности, что ему пришлось заплатить 38 франков 75 сантимов за проезд конвоира. По сути дела, он был доволен, что вызвал против себя репрессии, которые должны были доставить правительству неприятности.

Лежащий над Луарой, в Центральной Франции, Тур был большим городом. Лелевель встретил здесь большую группу соотечественников, установил также контакты с несколькими французами — коллекционерами средневековых монет, в городской библиотеке «копался как в своей собственной». Друзья сообщали ему парижские новости и присылали сведения из эмигрантских «лагерей». Новости из широкого мира были неблагоприятны. Начатые в марте 1833 года партизанские действия Заливского завершились трагически. Кацпер Дзевицкий, взятый в плен, покончил с собой; Артур Завиша и Михал Воллович погибли на виселице; сам Заливский со многими сотоварищами оказался в австрийской тюрьме. В это же время 300 эмигрантов из «лагеря» в Безансоне опрометчиво двинулись из Франции при известии, что в Германии вспыхнула революция. Но оказалось, что революционный взрыв во Франкфурте-на-Майне был подавлен в течение нескольких часов. Польский отряд не достиг Германии, а во Францию уже не мог вернуться. Он нашел убежище в Швейцарии, где его члены оказались без средств к существованию. Словом, революционные попытки, предпринятые под эгидой карбонарского движения, окончились компрометацией, а общественное мнение с очевидным преувеличением возлагало ответственность за это на Лелевеля. «Лелевель из надежного укрытия раздувает все это», — писал с неприязнью относившийся к нему консерватор Юлиан Урсын Немцевич.

Юзеф Заливский.
Рис. Ш. Базена,
литогр. Вийена.

Александр Казимеж Пулаский.
Литогр. Сосновского.

Виньетка Польского Национального комитета, помещенная на обороте титульного листа книги Лелевеля «Польша возрождающаяся».


HISTOIRE
DE
POLOGNE,
PAR JOACHIM LELEVEL.
TOME PREMIER.
A PARIS.
A LILLE,

Титульный лист книги Лелевеля «История Польши» на французском языке.

Карбонарские выступления в Германии, Италии и Польше были связаны с республиканским движением во Франции; отсюда новые, более острые меры правительства Луи-Филиппа, в частности против польских эмигрантов. Большие «лагеря», насчитывающие по нескольку тысяч человек, распускались. Эмигрантов рассылали по провинциальным городкам группами

по полтора десятка человек. Наиболее активных и подозреваемых в радикализме начали высылать за границу. Легко догадаться, что помнили и о Лелевеле.

15 июля 1833 года ему было приказано покинуть Францию. Префект заявил, что по его усмотрению выдаст ему паспорт в Бельгию или в Англию. Лелевель колебался и беспокоился. Примут ли его бельгийцы? Не выдадут ли они его правительствам держав — участников раздела? А англичане, не отправят ли они его, в свою очередь, в Америку? Он искал еще способа, чтобы остаться во Франции; просил отсрочить выезд ввиду плохого состояния здоровья, пробовал через парижских друзей хлопотать в Париже. Местные власти и наиболее авторитетные граждане Тура дали ему положительную рекомендацию, но министр заявил: «Ведь Лелевель… глава республиканской партии, он, очевидно, связан и с франкфуртскими, поскольку среди тех, кто отправился в Швейцарию, у него есть родственники». Единственное, чего удалось достичь, это продления пребывания в Туре недели на две.

Так дело дошло до путешествия Лелевеля из Тура в Брюссель, путешествия, которое в свое время получило европейскую известность. Железных дорог тогда еще не было; Лелевель выехал из Тура 2 августа дилижансом. Такой почтовый фургон, забирающий восемь пассажиров, везла четверка лошадей со скоростью до десяти километров в час. Дорога вела на север, минуя Париж. В одном из местечек мэр при отметке паспорта отнесся к Лелевелю невежливо, чуть ли не как к подозреваемому в преступлении. Изгнанник был обеспокоен и решил на какое-то время покинуть поле зрения властей. Кроме того, в дилижансе его продуло, и он полагал, что ему будет полезней свежий воздух. Поэтому в Эврё он сдал свою котомку в багаж, а сам пошел пешком.

В наши времена никого не удивляет, что даже пожилые люди различных профессий предпринимают пешие туристские походы. Но в прошлом столетии нравы были иные. Интеллигенту не полагалось мешаться с простым народом: он должен был ходить в сюртуке и цилиндре, путешествовать в экипаже, останавливаться в приличной гостинице. Тот, кто был интеллигентом, а путешествовал пешком, к тому же в блузе рабочего, того принимали за сумасшедшего или, что хуже, за политического агитатора, а может быть, даже за заговорщика. Поэтому прибытие Лелевеля в Руан вызвало визит в гостиницу комиссара полиции.

Возмущенный этим событием, Лелевель провел неспокойную ночь. Но наутро его ждал приятный сюрприз. Перед гостиницей собрались группы любопытных, которые при выходе устроили ему

небольшую овацию. Хозяин гостиницы торжественно пригласил его к своему столу, а со средины дня двери номера Лелевеля не закрывались, а являвшиеся поодиночке или группами жители выражали путешественнику свое почтение. Полиция, сама того не желая, сделала изгнаннику рекламу. Тронутый таким приемом, Лелевель решил остаться в Руане на день больше; он только страшно рассердился, узнав, что в городе делают для него подписку. «Есть более нуждающиеся, а самые нуждающиеся в Швейцарии, пусть им пошлют, коли хотят», — ополчился он на барона Детервиля, который всовывал ему в руку деньги.

Отправление из Руана приобрело характер демонстрации. Собралось более тридцати человек, все построились тройками. Лелевель шел в самом центре, по-прежнему в своей синей блузе, «один такой среди франтов». Его вели под руки врач и владелец кожевенной мастерской. На заставе с ним прощались возгласами: «Vive la Pologne», после чего странник двинулся пешком. Ночевать он остановился в первом пригородном постоялом дворе. Еще этот вечер он провел в беседе с несколькими «блузниками», но на следующий день сел в дилижанс, отказавшись от дальнейшего пилигримства.

Между тем пропагандистская машина набирала разбег. Республиканская оппозиция в северных департаментах Франции сообразила, что, приветствуя знаменитого поляка, жертву правительственных репрессий, она легко отравит настроение местным властям. В каждом следующем местечке, где останавливался Лелевель, овации были все горячее, его всюду приглашали на приемы, встречали речами, выпрашивали у него автографы. Изгнанник путешествовал теперь в частных экипажах, он посещал образцовые сельские хозяйства, суконные фабрики, наносил визиты ученым, особенно историкам. С оттенком скептицизма он отмечал, что буржуазия, которая так его принимает, хотя и оппозиционна правительству Луи-Филиппа, однако чувствует себя превосходно, обогащается и не думает всерьез о войнах и революциях. Он записывал: «Здешние республиканцы ездят в каретах, с лакеями в ливреях!» Он считал, однако, что по политическим соображениям следует использовать эти благоприятные для Польши настроения. Брату Яну, который также находился в эмиграции, он сообщал: «Я уже целиком бросился в объятия партии движения. Поскольку это было близко к границе, я полагал, что устроить шум и движение уместно». В Абвиле он участвовал в устроенном в его честь банкете, собравшем более двухсот человек. После банкета он отправился еще на «стаканчик сахарной воды» в более демократическое заведение и уж там «были более оживленные тосты». Подобные

сцены повторялись в Амьене, Аррасе и Лилле.

Власти были раздражены этими событиями, но не предпринимали открытых контрмер, опасаясь спровоцировать движение; они лишь все настойчивее поторапливали Лелевеля.

Несмотря на это, путешествие растянулось на шесть недель. Лишь 18 сентября после торжественного обеда Лелевель отправился из Лилля к бельгийской границе. Процессии провожающих сопутствовала толпа любопытных. На заставе с ним попрощались с новыми объятиями и здравицами, после чего Лелевель уселся в кабриолете. В первом бельгийском городе — Турне — его уже ждали представители местной колонии польских эмигрантов и жителей; банкет с шампанским продолжался до полуночи.

Ранним утром 21 сентября Лелевель прибыл в Брюссель. Он не знал города; выйдя на конечной станции дилижансов, он осматривался, где бы остановиться. Это был старый центральный район, с узкими кривыми улочками, с оживленным движением, явно заселенный беднотой. Взгляд приезжего случайно наткнулся на харчевню с вывеской «Estaminet de Varsovie» («Варшавская харчевня»). Название ему понравилось, и он приказал отнести туда свою котомку.

8
«Estaminet de Varsovie»

Для того времени не было ничего особенно удивительного в том, что господин ван Расбург, владелец небольшого кабачка на рю дю Шен (Дубовой улице) в центре Брюсселя, дал своему заведению название в честь города Варшавы. Во времена, о которых идет речь, столица Польши мало где пользовалась такой популярностью, как именно среди бельгийцев.

В 1833 году, когда Лелевель прибыл в Брюссель, Бельгия была независимым государством всего лишь три года. Эта страна на протяжении ряда столетий находилась попеременно под властью Испании, Австрии и Франции, а по решению Венского конгресса в 1815 году она была присоединена к Голландии. Бельгийцы тяготились этим навязанным им господством. В сентябре 1830 года, после взрыва июльской революции во Франции, они сами схватились за оружие. Брюссельское восстание после нескольких дней тяжелой борьбы освободило город и страну. Известие об этой победе в немалой мере способствовало подъему настроений в Варшаве в канун польского взрыва в ноябрьскую ночь. Связь между польским и бельгийским восстаниями была даже более существенной. В конце 1830 года нависла угроза европейской войны. Король Голландии пытался подавить своих бельгийских подданных и обращался с просьбой о помощи к Священному союзу. Царь Николай I убеждал Пруссию и Австрию принять участие в вооруженном выступлении и сам предпринял мобилизацию. Мы уже видели, что перспектива выступления польской армии против бельгийцев в немалой мере ускорила взрыв революции, которая уже давно назревала в Варшаве.

Взрыв ноябрьского восстания имел существенные последствия как раз для судеб Бельгии. В течение целого года вооруженные силы царизма были заняты в войне с поляками; равным образом Пруссия и Австрия держали на границах Королевства Польского обсервационные корпуса. Не было и речи о том, чтобы какое-либо из этих государств пришло на помощь Голландии. В таких благоприятных обстоятельствах Бельгия превратилась в отдельное, самостоятельное государство. Печать всех направлений была полна описанием мужества польских повстанцев и подчеркивала общность польского и бельгийского дела. Поэтому, быть может, нигде падение Варшавы не было принято с такой горестью, как в Брюсселе. Именно в это время

наивысшей популярности польского дела наименование «Estaminet de Varsovie» должно было казаться здесь особенно удачным.

В течение последующих двух лет кое-что переменилось. Бельгия отстояла свою независимость, но ей было еще далеко до полной стабилизации. Мир с Голландией не был подписан, и не все великие державы признали новое государство. Призванный на бельгийский трон король Леопольд из Саксен-Кобургской династии должен был опасаться не только нажима Священного союза, но и роста революционных настроений, грозящих его правлению. Бельгийское правительство вербовало, правда, польских офицеров в свою вновь создаваемую армию. Однако оно без особого энтузиазма относилось к более массовому наплыву эмигрантов, к штатским эмигрантам, особенно левого направления. К числу искренних друзей польского дела принадлежали в Бельгии некоторые либеральные политики, в частности депутат парламента Жандебьен и бургомистр Брюсселя Рупп. Республиканская оппозиция в Бельгии была немногочисленной и не имела широкой массовой базы. «Они даже республиканцы, — писал Лелевель, — но только тишком, по секрету, вслух же произнести имя республики — о ужас!» И добавлял под первым впечатлением пребывания в Брюсселе: «Пиво без конца, бельгийцы пьют его днем и ночью, поэтому они осовелы и одурманены, отсюда их глупость».

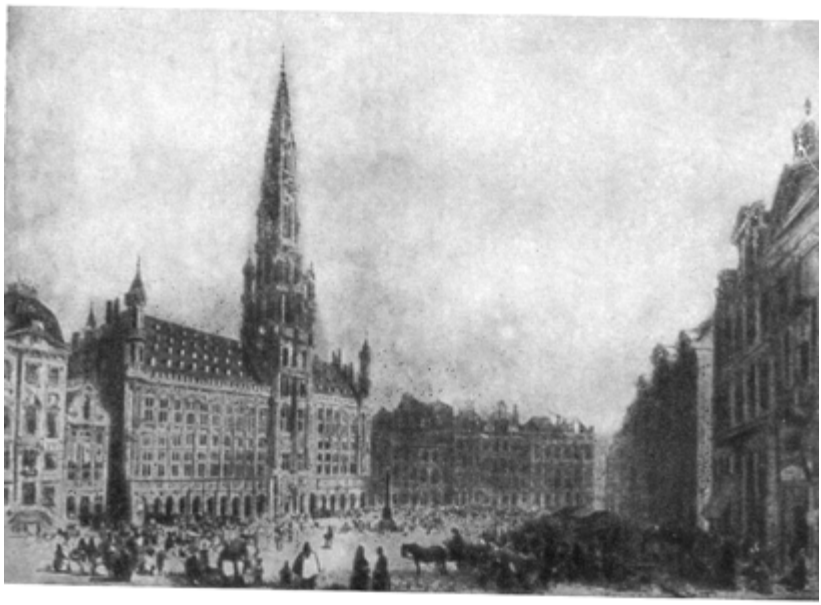
В честь Лелевеля был дан банкет в масонской ложе «Друзей истины». Присутствовали и другие польские демократы, высланные из Франции еще до Лелевеля, а именно: Станислав Ворцель, Кремповецкий и ксендз Пулаский. Провозглашались тосты, распевали «Варшавянку», «Марсельезу» и «Брабантский гимн», но на этом торжества окончились. Практичная бельгийская мелкая буржуазия возвращалась к своим делам, не интересуясь планами изгнанников, которым она предоставила убежище.

Тем временем Лелевель обживался в «Варшавской харчевне». Домик был небольшой; он находился у перекрестка трех улочек, образующих небольшую площадь.

Расположенный внизу кабачок имел соседями с одной стороны слесарную мастерскую и с другой — пекарню. Хозяева занимали второй этаж. Лелевелю они сдали одну из двух комнат третьего этажа. По довольно широкой лестнице он попадал в большую длинную комнату с тремя окнами в глубине. Под одним окном стояла деревянная, изъеденная древоточцем кровать, под другим — большой письменный стол красного дерева, в углу табуретка с тазом для умывания да несколько стульев — вот и вся мебель. Комната обогревалась стоящей посредине железной

печуркой, длинная труба которой была выведена в дымоход. Впоследствии в этой комнате появились полки, полочки и этажерки; не помещающиеся на полках книги и бумаги постепенно громоздились на столах и стульях. Так случилось, что комната, нанятая Лелевелем как временное пристанище, стала его жильем на 17 лет.

Иоахим Лелевель.
Рис. П. Ж. Давида
д'Анже 1844 г.



Площадь Ратуши в Брюсселе.

Прибывая в Брюссель, Лелевель отнюдь не был уверен в том, что правительство короля Леопольда позволит ему остаться тут надолго. И действительно, его чуть было не выслали уже через несколько месяцев. Группа близких Лелевелю польских демократов стала при помощи Жандебьена совладельцами радикальной брюссельской газеты «La Voix du Peuple» («Голос народа»). Это была скромная газетка, выходящая два раза в неделю. Ксендз Пулаский хотел превратить ее в главный рупор польского дела, связав с революционными движениями в Европе. Между тем весной 1834 года в Брюсселе произошли уличные волнения социального характера. Толпа громила дома и магазины богатой буржуазии. Последовали репрессии, либеральное правительство было сменено правительством более консервативной католической партии, а новые власти свалили всю вину на иноземных подстрекателей. Была использована одна неудачная статья «Голоса народа» на тему об апрельских событиях; из Бельгии были высланы польские члены редакции — Пулаский и Ворцель. «Петр громил и грабил — наказывают Павла. Здешняя логика от чрезмерного употребления пива», — отмечал Лелевель.

Распоряжение о высылке относилось и к нему самому, хотя к редакции газеты он не имел непосредственного отношения. Однако Лелевеля выручили бельгийские друзья. Он, как они объясняли, держался, может быть, несколько легкомысленно, но, разумеется, не имел никаких преступных замыслов. Отныне он постарается избегать давать какой-либо повод для предположения, будто он может угрожать общественному спокойствию. Министру объясняли также, что Лелевель приступил к написанию важного для науки труда о средневековой нумизматике и что необходимо дать ему время завершить эту работу. Приказ о высылке был, однако, не отменен, а лишь задержан исполнением, и Лелевель не мог чувствовать себя особенно уверенно на новом месте. «Нечего тут делать, надо удирать, но я подожду, пока выгонят. Это, надо думать, произойдет скоро», — писал он 22 мая 1834 года.

Однако его не выгнали, а несколько лет спустя приказ о высылке был отменен даже формально. Полиция, которая сначала относилась к нему настороженно, со временем пришла к убеждению, что этот «достойный уважения старец», «знаменитый и скромный профессор» заслуживает доброжелательного отношения властей. Лелевель постепенно обжился в Брюсселе, или, как он его шутливо называл, «Брусилове». Что касается бельгийцев, то они не сразу привыкли к этому оригинальному

ученому в блузе рабочего. Уже в первые недели пребывания в Бельгии с ним случилось любопытное приключение. Он выбрался вместе с Ворцелем в Гент, чтобы осмотреть тамошние коллекции средневековых монет, и, чтобы сэкономить три франка, путешествовал пешком. У Ворцеля в пути разболелась пятка, поэтому он сел в дилижанс и вернулся домой, а Лелевель отправился дальше. На следующий день в местечке Аш у него потребовали паспорт; ученый, разумеется, оставил документы в Брюсселе. Не помогло разъяснение, что он Лелевель. «Вы говорите, — вопрошал местный судья, — что вы Лелевель, знаменитый президент, тот человек, которого выслали из Франции по политическому делу. Пешком! В блузе! Как же вы можете нас морочить! Лелевеля, разумеется, знает Польский комитет, а комитет не позволил бы ему идти пешком». Подозрительного бродягу обыскали, бумаги его опечатали, а его самого заперли на ночь в арестантской, отказав даже дать свечку. Впрочем, бургомистр прислал арестанту бутылку вина, которое Лелевель не выпил. После бессонной ночи «на корявых досках, плохо прикрытых соломой», двое жандармов отвезли арестанта дилижансом в Брюссель. Здесь его доставили под конвоем по самым людным улицам города к прокурору, где дело, разумеется, выяснилось и ученому разрешили вернуться домой. Он с юмором описал это свое приключение в направленной в газеты реляции, закончив ее таким примечательным выводом: «Как же часто блузы вынуждены терпеть притеснения от людей, находящихся у власти, только потому, что они блузы. Эта мысль доставляет удовольствие заключенному, который готов посвятить себя их интересам». Любопытно, что ближайшие друзья Лелевеля ни в какой мере не сочувствовали этой демонстрации его демократизма. Петкевич, описав «забавное приключение» Лелевеля, в конце осудил его словами: «Пусть не шляется в блузе и без паспорта».

В последующие годы блуза Лелевеля стала известной не только жандармам, но и каждому прохожему в Брюсселе. Поэтому великий ученый мог уже не опасаться подобных недоразумений. И он совершал почти ежегодно без помех пешие экскурсии по стране, осматривая достопримечательности либо отдавая визиты знакомым бельгийцам, которые посещали его в Брюсселе. Рабочая одежда Лелевеля смущала, однако, даже его ближайшую родню, так что Лелевель был вынужден письменно объяснять свое поведение родному брату (Яну): он носит каждодневно плохонький костюм, сшитый три года тому назад в Париже за 50 франков. «Для парада» у него есть фрак, который ему презентовали в Аррасе по пути в Бельгию. (Фрак в то время был

повсеместно принятым выходным костюмом.) Разумеется, он не принял этот фрак даром, заплатил за него сто франков, хотя ему этот костюм совершенно не нужен — может быть, раз в год его наденет, а еще нужно его охранять от моли. «Блуза, — терпеливо объяснял он, — служит мне для сохранения моего гардероба; ведь лучше, чтобы она запачкалась иной раз, когда я ем в кухоньке, чем если бы это приключилось с фраком… Считать, что я ее ношу для популярности или пропаганды, никак нельзя, потому что я живу среди города отшельником. А если бы все-таки эту блузу так оценивали, то я скажу, что вся моя жизнь является пропагандой, и если ты это, брат, не видел вблизи, то можешь теперь отгадывать издали».

Простота одежды гармонировала со скромностью всего уклада жизни ученого. Утром он спускался сам в шлепанцах к булочнику; среди дня он снова сам приносил себе из кухмистерской кусок мяса с овощами «в горшочке, спрятанном под блузой». Такие обеды стоили ему от 10 до 12 франков в месяц; позднее и этот расход Лелевель сократил, ограничив свой обед порцией фрикаделек, разогретых собственноручно на печурке. «Уже много лет как я освободился от обеденного предрассудка, — писал он на склоне лет. — Раньше за три или четыре, а теперь, поскольку большая дороговизна, за пять грошей — фрикадельки и хлеб, этого хватает мне на весь день. Если очень хороший аппетит, съем еще одну порцию, и баста». Вечером Лелевель шел в кофейную читать газеты. Газеты в те времена были дороги, и мало кто мог себе позволить покупать регулярно несколько газет. «Дважды кофе — утром собственного приготовления дома, вечером в кофейной» — это был, по мнению самого ученого, единственный в его бюджете расход, «излишний, но, пожалуй, необходимый». Стоимость этого кофе в год он определял в 200 франков, за квартиру он платил 240, на освещение тратил 60, на хлеб — 30, на мясо — 25, на стирку и прочие мелочи — 15. В сумме Лелевель ограничил свой годовой бюджет 570 франками. Когда Виктор Гюго, описывая в «Отверженных» аскетическую жизнь молодого студента Мариуса, определял его бюджет, то речь шла о большей сумме — 700 франках в год.

Заметим, что в этом бюджете не было расходов на отопление. В первые годы комнату Лелевеля отапливала кабатчица, «баба-скупердяйка», которая после смерти мужа вела свое заведение. Позднее взаимоотношения испортились, и ученый перестал пользоваться этими услугами. Во время морозов он ужасно страдал: бывало, что у него в кувшине замерзала вода. «О как холодно! Невозможно писать и работать, потому что нельзя

согреться», — записал он в декабре 1838 года, а несколько лет спустя он вновь отмечал: «В моей комнате не бывает теплее 7–8 градусов, а ведь надо писать и гравировать». Он приспособился и к таким условиям: работая, он держал ноги в наполненном соломой ящике от комода. В 1845 году хозяйка обанкротилась, и «Варшавская харчевня» была закрыта. Всю следующую зиму Лелевель провел «в совершенно неотапливаемом доме», пока не дождался, что заведение было принято новым владельцем.

Нарекания на нужду часто встречаются в письмах Лелевеля, особенно адресованных родным. В письмах к чужим автор реже касался этой темы и только раздражался, если кто-либо из корреспондентов присылал ему неоплаченное письмо. Почта в те времена, перед появлением почтовых марок, обходилась дорого; отправитель оплачивал письмо на почте, но он мог свалить расходы на адресата. Лелевель вел обширную переписку, много платил за отправляемые письма и не желал доплачивать за письма получаемые. Еще в Туре он так жаловался в письме к Антонию Островскому: «Если за Ваше письмо я уплатил полный обед, то есть 10 су, то за другое письмо, из Гулля, заплатил 80 су, а следовательно, одним махом 90 су, что соответствует стоимости более четырех дней жизни, включая расходы на помещение. А назавтра еще письма из Марселя и Парижа обошлись мне 39 су, то есть сумму, достаточную на два дня жизни. Это чистое разорение».

О нужде «польского Диогена», переносимой с таким мужеством, эмиграция редко когда говорила с удивлением, чаще с насмешкой и издевкой. Людей раздражает у ближних презрение к деньгам, и в данном случае Лелевелю приписывалась либо сознательная скупость, либо позерство или непрактичность. Ходили слухи, что Лелевель имеет привычку торговаться с книгоиздателями «навыворот», то есть, что он добивается снижения предлагаемых ему гонораров. «Однажды вхожу я в комнату Лелевеля, — рассказывает мемуарист, — застаю там книгоиздателя из Познани Жупаньского и слышу следующие слова хозяина: «Обманешь меня, братец, обманешь, дай половину и забирай». Это была торговля по поводу какого-то труда, написанного им». История эта кажется сомнительной, из других источников мы знаем, что Лелевель знал цену своему труду и не привык отдавать его почти даром. Зато он всегда был настороже, чтобы под видом гонорара ему не всучили вспомоществования.

Здесь читатель готов снисходительно, а может быть, насмешливо усмехнуться. Что же, забавен этот старый Лелевель со своей отрешенностью! Но, видно, профессора вообще, как правило, чудаки. Но нет! Отрешенность Лелевеля имела свои

рациональные причины. Это было твердое решение, реализуемое с железной последовательностью в течение 30 лет: любой ценой отстоять свою материальную независимость. Такая позиция, всегда заслуживающая уважения, имеет подчас свои более глубокие и менее чистые истоки в честолюбии или тщеславии, желании доказать миру и самому себе, что человек является создателем и хозяином своей судьбы. Может быть, позиция Лелевеля не была свободна и от таких мотивов, но не они были решающими. Существенными были политические соображения.

Отправившись в изгнание, Лелевель посвятил остаток своей жизни польскому делу, и в этом он не отличался от всей активной массы Великой эмиграции. Он считал, кроме того, как мы увидим ниже, что дело освобождения Польши связано с делом народа, демократией — делом освобождения и наделения землей крестьян. И в этом убеждении Лелевель не был одинок: так же, как и он, — в значительной мере под его влиянием — мыслила вся эмигрантская левая. Однако брюссельский историк отличался от массы соотечественников тем, что он был особенно чуток к методам действия врагов Польши и врагов демократии.

Улучшение судьбы простого народа означало отмену феодальной зависимости и барщины, наделение крестьян землей, а это затрагивало интересы поместной шляхты. Будущая демократическая Польша имела не только трех открытых коронованных врагов — в Петербурге, Берлине и Вене; она имела также скрытых противников, способных противодействовать интересам Польши более тонкими средствами. Западные державы помогали полякам, чтобы поставить их себе на службу. Польские имущие классы умели продемонстрировать свою приверженность национальному делу, но заботились о том, чтобы удержать руль польского дела в своих собственных руках. Именно против такого рода тактики Лелевель боролся с упорством до последнего своего дня.

Свою точку зрения он выразил еще во Франции, когда речь шла об эмигрантском пособии или жалованье. Мы помним безуспешные старания созвать польский сейм. Вскоре после высылки Лелевеля из Парижа французское правительство установило для послов польского сейма пособие в размере 50 франков в месяц. Эта пенсия полагалась также и Лелевелю, и ее хватило бы ему при его скромном бюджете (в Туре он тратил на жизнь 2/3 франка в день). Однако он заявил публично, что и не думает «выклянчивать посольскую пенсию у могильщиков нашего дела». Неофициально же он пояснял в письме воеводе Антонию Островскому: «после того как Вы и Ледуховский успокоили свои пятидесятифранковые ожидания, Вам будет трудно дать свою

подпись при каком-либо публичном выступлении». Тот, кто получал пособие от французского правительства, тот отказывался, по крайней мере частично, от свободы действий, особенно если он был, как Лелевель, ведущим политическим деятелем. Рядовым эмигрантам Лелевель не ставил в вину принятие жалованья, хотя позднее в Бельгии не раз иронизировал, что люди, которые берут ни за что от правительства по 30 франков в месяц, в сравнении с ним богачи.

Вскоре появилось более существенное искушение. В Брюсселе был организован университет, так называемый свободный, то есть независимый от государства и церковных властей. В этом университете прогрессивного направления Лелевелю было предложено в 1834 году занять кафедру археологии или древней истории. Это уже не было подаяние, речь шла о предложении научной работы, дающей материальное обеспечение. Вопреки советам соотечественников, которые уговаривали его принять предложение, Лелевель, вежливо поблагодарив за него, отказался. Он ссылался на то, что еще раньше обязался окончить труд о нумизматике; в действительности же он не хотел принимать «чужеземную службу», особенно зная, как бельгийская полиция относится к польским эмигрантам. «Невзгоды эмиграции во Франции ничто по сравнению с тем, с каким бесстыдством Бельгия разбивала нашу эмиграцию у себя и разгоняла ее и разогнала… Сейчас спекулируют званиями, жалкими деньгами, которые собрали, распределяют их среди лиц получше или похуже и т. п., а сколько бы было нареканий, если бы я, оказав им какую-либо услугу, взял бы за это какие-нибудь сто франков». В другом письме, своему близкому другу Адольфу Циховскому, он объяснял, почему разные люди желали, чтобы он принял профессуру: «Наши вельможи для того, чтобы меня полностью спровадить с политической арены; искренне доброжелательные старые и более молодые соотечественники потому, что им казалось, что это принесет честь Польше и удовольствие мне; доброжелательные бельгийские патриоты, полагая, что мне тем дадут заработок и предоставят место работы; а господин Франсуа, директор местной полиции, рассчитывая, что легче поймает меня на слове, за которое мог бы меня отсюда выгнать». Действительно, университетская кафедра могла облегчить Лелевелю научную работу, но, несомненно, осложнила бы его конспиративную деятельность.

Еще один раз, в 1841 году, Лелевель отверг предложенный ему пост, на этот раз хранителя нумизматического кабинета. Он снова должен был объяснять свое поведение друзьям: он слишком долго провозглашал, «что принимающий иностранные публичные

функции покидает свой национальный пост… могу ли я в моем положении принимать, вопреки этому, постоянные обязанности, разумеется, нет». К тому же этот кабинет носит название «королевского» — добавлял он в другом письме. Иное дело, что Лелевель брался по заказам иностранцев за выполнение конкретных научных работ. Здесь он не чувствовал себя связанным, он выполнял работу и получал за нее плату — здесь не было зависимости.

Равным образом он решительно отвергал любые пожертвования со стороны соотечественников. За собранную для него по «лагерям» складчину, когда его высылали из Франции, он растроганно благодарил, но отослал ее, поясняя, что есть более нуждающиеся. Он соглашался, впрочем, чтобы за него заплатили долги Национального комитета в парижской типографии, но это как-то не осуществилось, и Лелевель сам выплачивал этот долг (2000 франков) в течение трех лет ценой немалых лишений. Особенно настороженно он относился ко всяким суммам, присылаемым из Польши. Он знал, что пожертвования эти, по крайней мере частично, исходят из консервативных кругов. Пусть они были свидетельством уважения к науке, пусть были проявлением любви к ближнему, но они исходили от политических противников, и Лелевель как демократ не желал пачкать себе ими руки. Тем более он отвергал анонимные переводы. «Ты знаешь, какое отвращение я испытываю к безымянным деньгам», — писал он Антонию Глушневичу. Один раз он сделал исключение, когда в 1842 году великопольский магнат и меценат граф Титус Дзялыньский прислал ему 600 франков. Это была якобы доля в доходе от распродажи «Литовского статута», который Лелевель подготовил к печати еще до восстания. Ученый ответил тогда, что у него нет никаких прав на доходы от «статута», но что он принимает 600 франков в счет своих будущих научных трудов. Четверть полученной суммы он отдал на общественные цели, а остальные использовал для уплаты наиболее срочных долгов. Однако два года спустя до него дошли слухи, что Дзялыньский хвастает в Познани субсидией, которую он предоставил Лелевелю. У ученого случайно был в это время только что полученный гонорар; он немедля отослал 600 франков своему меценату, что повлекло за собой разрыв отношений.

Брату Проту, живущему в Варшаве, он объяснял свою точку зрения, пользуясь из-за цензуры иносказаниями: «Моя старая баба, как Вы знаете, упряма… она очень рада, когда ее любят, рада поддерживать дружеские отношения, но терпеть не может протекции… Баба не хочет, чтобы вельможи собирали для нее

милостыню, она шьет, вышивает и таким образом зарабатывает, и для нее тот друг, кто помогает ей сбывать ее работы… С годами она нуждается меньше в еде, а значит, и меньше тратит, чем молодые; меньше изнашивает одежду, а значит, может дольше, чем молодые, ходить в обносках, умеет, если надо, зашить, подлатать. Говорят, что скряжничает, что сидит на деньгах, что если бы хотел, то составил бы состояние. А он вынужден в каждом начинании преодолевать тысячу препятствий и убытков».

В более поздние годы в вопросе непринятия услуг и подарков Лелевель дошел до полного чудачества. Родные из Польши прислали ему раз двенадцать рубашек. Лелевель немного рассердился, но в конце концов принял подарок, однако сразу же постарался послать дарителям какой-нибудь эквивалент. От доктора Северина Галензовского, друга и очень богатого человека, он после долгих споров принял в подарок бандаж, но устроил ему ужасный скандал за попытку подарить ему новое пальто. При этой оказии он описывал Галензовскому состояние своего гардероба: «Я был владельцем шести пар панталон, в том числе две пары абсолютно новенькие; из четырех одни пошли на заплаты, другие я подарил одному из наших рабочих как рабочую одежду, третьи, которые я сам носил, получил Хероним Субра, глухой старик из-под Ченстоховы, четвертые, поправив уже изношенные пуговицы, я вновь на долгое время взял для носки».

А вот еще один анекдот. Госпожа Жоттран, жена бельгийского журналиста, с которым Лелевель был в приятельских отношениях, загорелась мыслью сделать ему новую шапку; она пригласила его к себе и велела шапочнику снять мерку с шапки, оставленной в передней. При следующем визите Лелевеля его шапку подменили на идентичную, с таким же самым козырьком «гигантских размеров». В довершение всего Лелевеля уговорили выпить несколько рюмок вина, чтобы он на месте не заметил подвоха. И действительно, он обнаружил замену только на следующий день; шапка была отослана с гневным письмом: «Прошу вернуть старую, я не нищий и милостыни не принимаю!»

Однажды решив отвергать даже тень милостыни, он должен был обеспечивать себя сам. Он не пренебрегал физическим трудом и не считал его худшим, чем умственный; напротив, ему нравилось, когда его товарищи брались в Брюсселе за неинтеллигентский труд. Станислав Ворцель работал в типографии наборщиком и корректором; Годфрид Маас, умевший гравировать, получил работу в монетном дворе, а Шимон Конарский, позднейший эмиссар, вступил в бродячий оркестр и играл на флейте в сельских харчевнях, он зарабатывал в день три, а то и пять франков. Лелевель находился в другом положении: он

был ученым с уже громким именем, научный труд считал своим истинным призванием, поэтому он стремился обеспечить себе средства на жизнь своим пером. Для иностранцев он мог готовить специальные труды, требующие эрудиции, для соотечественников — новые обзоры отечественной истории. Как мы увидим ниже, он трудился в обеих областях, но ни одна из них не обеспечивала значительных доходов. Ученые труды, написанные на французском языке, расходились лишь в узком кругу специалистов. Польские исторические книжки доходили до читателей в Польше с большими трудностями из-за цензуры. Писательский труд позволил Лелевелю оградить то, что он ценил более всего: свою независимость. Но ему удалось достичь этого ценой беспрестанных, многолетних ограничений.

В описании жизни одинокого постояльца «Варшавской харчевни» не следует терять чувство меры. Лелевель был одинок, но он не был мизантропом. Правда, бывали периоды, когда, поглощенный срочной работой, он запирался в своей комнате и не открывал никому, «хотя бы кто-нибудь стучал, добивался, выкрикивал свое имя». Однако обычно он общался с людьми, особенно с соотечественниками, переписывался с многочисленными приятелями, принимал толпы знакомых, проезжавших через Брюссель.

Он живо интересовался жизнью местной польской колонии. В его письмах масса мелких новостей и даже сплетен, которые он усердно собирал и передавал далее. Вот пример 1839 года: «Ярновская умерла в родах. Ее приятельница Вернерова из сочувствия выкинула, и оказалось, что Вернер, ни с кем не советуясь, хотел иметь сразу близнецов. Калиньская родила здоровенного мальчишку. Клечиньский со всем семейством переехал куда-то в деревню. Райнгольд получил хорошо оплачиваемое место профессора в Андерлехте. Р. Хассфорт рассказывает, что является профессором в Тирлемоне, что через два месяца он женится на молоденькой 18-летней барышне, но от него зависит отсрочить свадьбу, на которую родители невесты отложили 4000 франков. Капитан Идзиковский любит рассказывать о банкетах, которые он некогда за большие деньги устраивал польской армии. Мальчевский, которого в Париже одна баба вылечила от солитера, возвращался в Лондон через Брюссель. Нас навестила здесь пани Страшевичова, которая ехала на несколько дней к матери в Малин. Этой прелестной вдовой весьма интересуется Солтык. Уминьский покинул Голландскую гостиницу и нанял себе апартамент». Подобных писем со сплетнями можно было цитировать много. Злые языки говорили, что Лелевеля в особенности интересовали слухи, относящиеся к

поведению дам и девиц, но сохранившейся корреспонденцией это не подтверждается.

Лелевель охотно принимал приглашения на свадьбы и крестины независимо от того, шла ли речь о состоятельной среде или даже о ремесленниках. В 1855 году в письме к сестре он отмечал, что был крестным отцом шестерых детей, в том числе одного еврейского и одного графского, а свидетелем на свадьбах выступал значительно чаще. «Мне кажется, что хотя у меня нет детей, но я достаточно содействовал умножению человеческого рода. Среди тех супружеских пар, у которых я был свидетелем, только три или четыре бездетные, а у остальных 24 ребенка, если не больше».

Нуждающимся соотечественникам он умел деликатно оказать помощь, зато гнал от себя проходимцев-вымогателей. Порою являвшегося к нему с просьбой о помощи пришельца он приглашал: «Раздели со мной мой скромный обед, и ты увидишь, что здесь можно жить дешево». Однажды отведав обед Лелевеля, проситель уже больше не показывался.

Среди гостей Лелевеля встречались, особенно в поздние годы, многочисленные художники, желавшие нарисовать его портрет. Это была эффектная фигура, с характерной внешностью: казалось бы, типичный книжный червь, согнувшийся над своей писаниной, а между тем его глубоко посаженные глаза метали молнии, как только речь заходила о политике. Было известно, что он держит руку на пульсе революционных движений во всем мире. В Европе было немного поляков, которые были более известны, чем Лелевель; не один гравер, а позднее фотограф хорошо заработал на его портретах. Лелевель терпеть не мог позировать, его можно было рисовать лишь украдкой. Так, например, Леонард Страшиньский набрасывал его портрет, спрятав бумагу на дне цилиндра, пока кто-то иной занимал ученого беседой. Лелевель редко бывал доволен своими портретами. «Люди говорят, что хотя я и лупоглазый мазур, однако не таращу так глаза», — писал он по поводу одного из более ранних портретов. Еще суровее он оценил свою фотографию, назвав ее «математической ложью, искренностью гримасы». Однако некоторые из этих украдкой набросанных в комнатке Лелевеля рисунков говорят нам больше, чем длинные рассказы.

Таким был этот странный старик, одна из достопримечательностей Брюсселя: человек, некоторых раздражающий, для большинства же симпатичный. Когда он шел по улице, его приветствовали улыбкой дети, торговки, ремесленники; бельгийский король Леопольд при встрече всегда

здоровался с ним за руку. В польских консервативных кругах его имя произносилось с ужасом и осуждением, молодые конспираторы в Польше чтили его на расстоянии, не зная. Сам он, в стенах своей бедной комнаты, делил свое время, силы и жизнь между двумя привязанностями — наукой и трудом для Польши.

9
Нумизматика и картография

О начале своей научной работы Лелевель на склоне лет вспоминал так: «В канцелярии нашего отца был однофамилец и воспитанник нашего деда Константин Шелютта. В момент, когда Польша прекращала свое существование, он уезжал на должность архивиста Виленского университета и подарил мне… труды, печатанные у Грёлля или Дюфура. Среди них было краткое описание всех наук (маленькая энциклопедия). Она мне очень нравилась, но я нашел ее недостаточной и решил изготовить лучшую. Это было в 1796 году, мне было 10 лет. Имея под рукой арифметику, грамматику языков, географию Ладовского, я делал из них выписки для задуманного труда, тихо, скрыто, потому что боялся, чтобы меня не высмеяли как всезнайку. Как бы то ни было, с этого времени появилось и возрастало стремление к авторству и начала подтверждаться французская поговорка: если хочешь чему-нибудь научиться, то напиши об этом книгу».

Эта история, может быть немножко прикрашенная, свидетельствует, бесспорно, о раннем проявлении способностей Лелевеля, а пожалуй, указывает и на будущее направление его интересов. Славу Лелевелю принесли его большие обобщающие труды, а также его книга «История Польши, изложенная популярным образом», книжка, на которой воспиталось несколько поколений поляков. А, однако, больше всего научного труда он вложил — еще перед 1830 годом — в труды менее эффектные, а именно энциклопедические, те, которые должны были служить другим авторам как пособие, вспомогательная книга. К их числу относилась его «Историка» — первый на польском языке очерк методики исторического труда, «Две книги библиографии», которые должны были стать путеводителем по всему кругу изданных к тому времени научных трудов, «Исследования античности с точки зрения географии» (1818 г.) и еще многие работы о методах пользования древними хрониками, пергаментными документами, печатями и надгробными надписями как свидетельствами далекого прошлого. Эта обширная, неэффектная, но очень полезная отрасль знания носит сейчас общее название вспомогательных исторических наук. К их числу относятся две специальности, для развития которых заслуги Лелевеля были огромны: нумизматика, или наука о монетах, и историческая картография, или наука о древних картах.

Монетами отдаленных эпох Лелевель занялся впервые еще перед восстанием, когда ему прислали для ознакомления большой клад таких монет, выкопанных в Тшебуне около Плоцка. Клад этот относился к XI веку и включал многочисленные немецкие, английские и лотарингские монеты. Лелевель опубликовал тогда о них небольшую книгу. В начале XIX века нумизматика еще мало кого интересовала, кроме коллекционеров. Старые монеты собирали, описывали и каталогизировали так, как сейчас собирают почтовые марки; тогда еще не понимали того, как много может дать изучение таких монет для понимания экономических отношений в прошлом, а особенно торговых связей. В Западной Европе считали достойными внимания греческие и римские монеты, учитывая обаяние античности, ценность монет, художественность изображения и четкость надписей. Средневековая нумизматика, имеющая объектом тоненькие монетки из плохого серебра с плохо читаемыми надписями, была гораздо менее эффектна и находила немного любителей. Положение это изменилось лишь в XIX веке, в значительной мере благодаря трудам Лелевеля.

Мы уже упоминали о том, как польский ученый вернулся к своим нумизматическим интересам под конец пребывания во Франции. Он сидел в Туре под надзором полиции, оторванный от политической деятельности, и копался в местной библиотеке; у него появилась мысль, что он мог бы для заработка перевести на французский свою работу о монетах из Тшебуня. Он взялся поэтому за французскую нумизматику, а затем во время путешествия по Франции посещал коллекционеров монет и, осматривая их собрания, обсуждал с ними издательские возможности. Все предостерегали его, что такие специальные публикации не могут принести дохода, что даже небольшой тираж в несколько сот экземпляров не разойдется в течение десятилетий.

Несмотря на это, по прибытии в Бельгию Лелевель решил заняться именно средневековой нумизматикой Западной Европы. Он трактовал это начинание как занятие специально для заработка: выше уже говорилось о том, что ему предстояло уплатить 2 тысячи франков долгу парижской типографии девиц Пинар за издания Национального комитета.

Основой любого издания по вопросам нумизматики являются репродукции монет. В описываемое время, когда еще не существовало фотографии, пользовались техникой гравирования. Автор срисовывал монету на бумаге, затем переносил рисунок на медную или стальную пластину, покрытую слоем воска; для этого пользовались специальной иглой. Подготовленную таким образом

матрицу травили затем азотной кислотой, получая вдавленный рисунок, который, покрытый типографской краской, оттискивал изображение монеты на бумаге. Эта техника была недостаточно точна и чрезвычайно трудоемка, она требовала громадного навыка в расшифровке надписей и технической квалификации. Исследователь, если он хотел точно перенести рисунок на матрицу, мог полагаться лишь на достаточно квалифицированного работника. Что касается Лелевеля, то он и не мог мечтать о каком-либо техническом помощнике. Гравирование было известно ему давно, и он любил экспериментировать в этом ремесле. Поэтому он решил сам приготовить репродукции для своих книг.

«Я был во всех науках учеником посредственным, хотя старательным, и занимался удовлетворительно; в то же время я видел, как многим учение давалось легко. Я не завидовал их более высоким способностям, лучшему схватыванию; я напрягал свои силы, повторяя себе: достигну, докажу, созрею, а тем временем буду делать то, что способен». Так характеризовал Лелевель свой собственный стиль работы в молодые годы. Эту оценку можно применить и к описываемому нами начинанию. Ему было уже без малого 50 лет, перед ним возникало столько новых трудностей: абсолютно чуждый материал источника, сложная гравировальная техника, необходимость формулировать мысли на французском языке.

Средневековая нумизматика! Сто сорок лет назад здесь все было новаторством. Были известны более или менее монеты королей и императоров, но в феодальные времена чуть ли не каждый второй граф или барон, многие епископы, многие городские общины также чеканили собственную монету, и разобраться во всем этом было нелегко. В Польше в XIII веке еврейские арендаторы монетных дворов выпускали монеты с надписями на древнееврейском языке. Встречались монеты, которые били в шутку, с остротами и ребусами; сам Лелевель опубликовал на эту тему любопытную статью. Уже известные собрания были рассредоточены, а между тем появлялись все новые и новые находки. Было невероятно, чтобы один человек в течение нескольких лет охватил и систематизировал весь этот материал. Но каждый шаг вперед в этой почти неисследованной области, каждая новая творческая концепция была уже сама по себе достижением, поскольку она открывала путь дальнейшим исследователям.

Едва устроившись в Брюсселе, Лелевель взялся за работу: он покупал жесть и гравировальные принадлежности, осматривал коллекции монет по всей Бельгии. Уже 1 ноября 1833 года он

сообщал Леонарду Ходзьке: «Я начал гравировать монетки». Он просил присылать себе оттиски монет из Парижа, в связи с чем наставлял друзей: «Надо взять тонкую жесть, очень тонкую, я нашел здесь у подмастерья такую, привезенную из Парижа, и эту жесть зубной щеткой натереть на монету, и полученный таким образом оттиск залить воском, а затем воск намазать кисточкой, как это можно видеть на приложенном образце». Так с применением совершенно домашних способов вырастал труд выдающегося научного значения.

Уже в январе 1834 года Лелевель разослал уведомления в печать, что он заканчивает труд по нумизматике, что подготовил 70 таблиц с репродукциями 250 монет, «в большинстве своем ранее неизвестных». Монеты эти принадлежали трем музеям и почти 20 частным коллекционерам.

Теперь надо было искать издателя. По рекомендации знакомых бельгийцев Лелевель попал к крупному книгоиздателю Гауману. Тот принял его во время сытного завтрака, но не пригласил к столу; даже двадцать лет спустя писатель помнил: «Не удивительно, что я, будучи натощак, с удовольствием вдыхал запахи убираемых блюд». Лелевель был новичком в издательских делах: он не ставил вопрос о гонораре, а лишь только о части экземпляров. Камнем преткновения оказался вопрос о собственности матриц, которые Гауман хотел получить для себя, будто бы для того, чтобы обеспечить себя от конкурентного издания, в действительности же для того, чтобы позднее их использовать. «Вы хотите получать проценты с моего труда?! — воскликнул Лелевель. — Матрицы останутся у меня». Тогда издатель предложил даже тысячу франков за труд и матрицы при условии, что сам автор обеспечит подписчиков. Они расстались вежливо, но не достигнув согласия.

Из трудного положения Лелевеля выручил Юзеф Страшевич, бойкий эмигрант, открывавший издательскую фирму в Париже. «Ох, как же я благодарен ему, что он избавил меня от иностранных предложений и протекций», — писал ученый в апреле 1834 года. Действительно, Страшевич взялся за издание труда о нумизматике и даже уговаривал Лелевеля расширить тему. То, что первоначально должно было быть переработкой польской книжки о монетах из Тшебуня, разрослось в историю нумизматики от падения Римской империи до XII века. Было договорено, что тираж составит 750 экземпляров, из которых 100 оплатили заранее подписчики, а 350 принадлежали автору. Считая по 40 франков за экземпляр, можно было рассчитывать на доход в 12 тысяч франков. В условиях Лелевеля это было бы настоящее богатство!

Легко догадаться, что доходы эти остались на бумаге. Сложное издание затянулось, тем более что и труд разросся до двух томов и путешествия корректур из Парижа в Брюссель занимали целые недели. Когда наконец книга вышла в 1835 году, Лелевель был без гроша. Все доходы от других публикаций он отдавал в уплату долга «Пинардзянкам», да и приобретение материала для гравирования монет также поглощало средства. Поэтому теперь он не мог дожидаться распродажи своей части тиража. Он предложил Страшевичу, что уступит ему 300 экземпляров за 2 тысячи франков. После долгой торговли он получил наличными… 750. Это был ничтожный гонорар, но Лелевель был рад и этому. Он писал брату Яну: «Таким образом, я впервые в жизни имею от моей авторской работы чистого дохода 700 франков, и моя касса не пуста, а если мне не потребуется куда-либо ехать, то я обеспечен пропитанием до 1837 года».

С чувством удивления мы рассматриваем теперь эти два тома «Нумизматики средних веков», насчитывающие в общей сложности более 700 страниц. В первом томе автор рассмотрел монеты варварских государств, Меровингов, Каролингов и более поздних французских феодалов, а затем англосакские монеты. Во втором томе описаны монеты других европейских государств, среди них и Польши, но всего обстоятельнее исследованы германские и нидерландские монеты. Подавляющая часть этих монет не была до этого точно квалифицирована. Малоразборчивая надпись содержала самое большее имя монарха — Хильперика, Карла или Оттона. Такое имя носил не один монарх; к тому же редко когда помнили, из каких раскопок происходит данная монета.

Лелевель одним из первых приступил к классификации монет по их внешнему виду: содержанию, композиции и стилизации изображения, типу букв, содержанию надписи. Комплекс характерных черт, повторяющихся на большом числе монет, он назвал «типом» и доказал, что, как правило, он соответствует точно определенной территории и эпохе. Так, например, на каролингских монетах до 800 года фигурирует только имя монарха. В начале IX века на них появляется симметричный крест или изображение храма. После 840 года выступает новый тип: монограмма из нескольких сплетенных букв. В то же самое время итальянские и английские монеты имеют другие характерные черты. Хорошее знание типов значительно облегчало классификацию неизвестных или необозначенных монет.

Этой цели служил присоединенный Лелевелем к книге атлас, содержащий наглядное сопоставление наиболее часто встречающихся фигур, а именно крестов, корон, портретов,

геральдических зверей и т. д., с указанием страны и эпохи, к которым они относятся. Подобным же образом были сопоставлены меняющиеся формы различных букв алфавита. Лишь после этого шел собственно атлас с изображением около 700 монет, среди них много ранее неизвестных. Труд редкостный, если учесть, что его осуществил в течение двух лет один человек, работающий в трудных условиях: автор, рисовальщик и гравер.

Сейчас, спустя полтора столетия, европейская наука пошла далеко вперед и исправила в книге Лелевеля не одну ошибку. Однако мировая нумизматика всегда будет видеть в этом труде важный шаг по пути к научной классификации средневековых монет, первое столь творческое применение метода, который последователи Лелевеля довели до совершенства.

Издание встретило положительную оценку во Франции и в Германии. Ученые и коллекционеры обращались теперь за советом к польскому ученому, присылали ему для осмотра редкие образцы. В связи с этим случались и дополнительные заработки: так Лелевель подготовил каталог одной из частных коллекций монет, продававшейся в Брюсселе с аукциона, за что получил 250 франков, несколько лет спустя он составил каталог монет Брюссельской библиотеки. Этот последний каталог сохранился до наших дней, и знатоки еще и сейчас приводят его в качестве образца добросовестного и всестороннего описания.

Втянувшись в нумизматику, Лелевель перешел теперь к исследованиям кельтских монет. В своих воспоминаниях он говорит: «Тысячи подготовленных оттисков и рисунков, пересылки всякого рода монет, особенно кельтское золото стекалось со всех сторон и блистало на моем столе. Нагруженный этим золотом, я бродил пешком по глухим бельгийским лесам, относя его владельцам». Действительно, кто бы подумал, что у этого странника в блузе рабочего полные карманы золотых монет, к тому же двухтысячелетней давности!

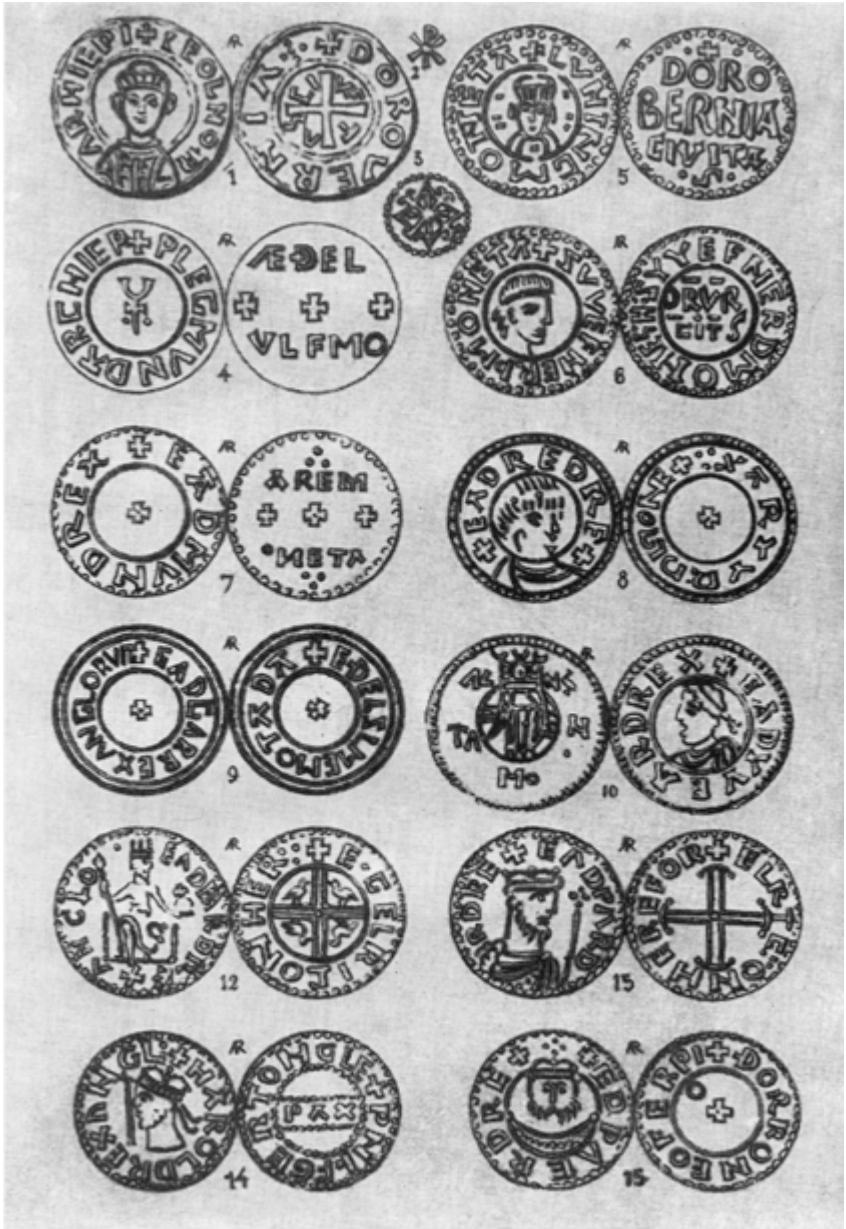
О кельтских монетах ученые в то время знали еще меньше, чем о меровингских. Значительная часть этих монет, чеканенных в Галлии до римского завоевания, вообще не имела надписи. Лелевель применил и здесь классификацию в соответствии с типами, которые соответствовали, по его мнению, хронологическим периодам.

Плодом этих исследований стала новая книга объемом около 500 страниц «Нумизматические и археологические исследования. Том I. Галльский или кельтский тип». Эта книга рассматривала развитие кельтского монетного дела от IV века до нашей эры до времен Юлия Цезаря, охватывая не только Галлию, но и кельтские поселения в Италии, Греции, Малой Азии и

Центральной Европе.

Для развития исследований в этой новой области она имела такое же значение, как ранее «Нумизматика средних веков», с той разницей, что тема была еще более трудной и неисследованной. Многие из гипотез Лелевеля впоследствии были признаны слишком рискованными, но его метод оказался новаторским и плодотворным. Исследования о «галльском типе» читались более легко в сравнении с «Нумизматикой». От классификации монет автор переходил к более широким рассуждениям об истории галлов, о временах их величия и упадка; он позволял себе отступления, приводил анекдоты. Он писал с искренней симпатией к кельтскому народу, а оценивая причины упадка Галлии, осуждая предательство вождей и пагубные племенные раздоры, невольно вспоминал судьбу собственного народа. Как выразился один из мемуаристов, Лелевель описывал священные рощи друидов, а перед глазами его стояли знакомые с детства чащобы Беловежи.

Этот новый труд был также снабжен атласом из 14 таблиц, содержащих изображения монет. На этот раз автор пользовался не иглой, а резцом; как он сам говорил, эта работа «самая трудная из всех, какие до сих пор были». Лелевель неоднократно подчеркивал доморощенный характер своего метода гравирования. Он говорил: «Я никогда не собирался стать художником или гравером-специалистом; то, что я выкорябаю и выколупаю, не удовлетворит тебя, потому что я гравирую для себя по необходимости. После опубликования кельтских монет меня почтил визитом один из известнейших художников. «А где твоя мастерская?» — спрашивает. «Вот здесь, на этом столе». — «Но здесь свет недостаточен. А где твои резцы?» — «Вот они». — «Два?» — «Есть и третий». — «Но они плохо насажены, как ты можешь ими работать?» — «Знаешь, — отвечаю с усмешкой, — граверы ведь чудаки». А между тем эти «колупания» Лелевеля, которые нередко, как гласит легенда, доделывались попросту перочинным ножом, и сейчас поражают нас точностью рисунка.



Средневековые англосакские монеты. Гравюра И. Лелевеля.

«Нумизматические и археологические исследования» вышли в свет в Брюсселе в 1841 году, изданные за счет автора. Подписка покрыла расходы издания, но остаток тиража не раскупался, что отбило охоту у Лелевеля подготавливать дальнейшие тома. «Жить на это, жить на нумизматические публикации? Можно сказать, что я творю чудеса!» — писал он несколько лет спустя. Одному из

корреспондентов он попросту сказал, что он сыт по горло кельтскими монетами, а хотел бы обеспечить себя современной, имеющей хождение монетой. Он написал еще несколько нумизматических статей, главным образом о нидерландских монетах, но постепенно отходил от этой области науки. «Я скоро обнаружил, — писал он с оттенком меланхолии, — что мой том «Галльский тип» трактуют как помеху: упоминаемый вскользь, замалчиваемый, то, что я сказал первым, приписывалось другим. Мир быстро развивается, а конкуренция и того быстрее. Появилась масса самых разнообразных нумизматических авторов, более бойких, более способных, располагающих средствами достичь своего. Несколько лет спустя по стечению еще и иных обстоятельств я должен был, несмотря на собранный материал и потраченное время, совершенно покинуть поле нумизматики».

Однако в неизменно деятельном уме Лелевеля дозревал новый замысел, на этот раз связанный с историей картографии. Еще в молодости, в 1812 году, Лелевель написал работу «Исследования античности с точки зрения географии». Теперь он решил эту книжку «перефранцузить».

Сначала он издал на французском (1836) и немецком (1838) языках небольшую работу о Пифеасе из Массалии, путешественнике IV века до нашей эры, который оставил интересное описание северноевропейских морей.

По ходу своих работ над историей средневековой Польши Лелевель начал собирать и анализировать старые карты Европы, особенно итальянские и арабские. Постепенно им овладела идея большого труда: разработки истории представлений о географии Европы в средних веках. Это был новый рискованный замысел. В течение уже двадцати лет готовились два подобных издания: одно в Париже (Жомара), второе в Лиссабоне (Сантарема), оба пользующиеся финансовой поддержкой и основанные на материалах из многочисленных коллекций.

Лелевель сумел опередить их обоих, вооруженный лишь собственным беспредельным трудолюбием и предприимчивостью. Сначала он приготовил атлас средневековых географических карт, разумеется им же самим гравированных. Издатель нашелся в самом Брюсселе. Автор писал брату Яну: «Некоторые высокопоставленные французские писатели морщатся при виде того, как какой-то темный отшельник-бедолага бросается в подобное предприятие и популяризирует, делает общедоступным то, что они своей высокой спекуляцией делали недоступным». В июле 1847 года он сдал в типографию атлас вместе с первым томом «Географии средних веков». Но все стало под знаком вопроса. Начался общеевропейский финансовый кризис, а вслед

за ним весь континент охватила революция. Издатель Канс испугался риска и расторгнул соглашение.

Лелевель был тогда болен и уже не принимал участия в быстром развитии политических событий. Он быстро сориентировался, что революция клонится к упадку, что она не положит предела неволе Польши и его изгнанию. «На ложе тяжкой, более тяжелой, чем когда-либо, болезни я размышлял, что делать? Время такое, когда другие повсеместно в страхе прекращают, приостанавливают научные предприятия, я же, в моем преклонном возрасте, не имею возможности тратить время, поэтому рискну сам». Он вложил уже немалые средства в подготовку карт; теперь (летом 1848 года) он подписал векселя на несколько тысяч франков, чтобы типография Пилье приняла заказ.

Издание очень затянулось, но книжке это пошло на пользу, поскольку автор продолжал сбор материалов. «Тогда в медленном развитии труд возрастал, рос более гармоничным». Однако творческие, технические, организационные труды были колоссальны: «Я взбирался со своего уровня на вершины гигантской горы, карабкаясь по ее скалам во весь дух, либо спускался бегом в бездонную пропасть, погружаясь в такие глубины, куда едва достигал какой-либо свет» — так описывал ученый свои тогдашние переживания. В 1850 году Лелевель, автор и гравер, взвешивал, не придется ли ему еще самому стать наборщиком, и лишь отмечал, что на эту работу ему «физически не хватит времени». Гравирование «съело» у Лелевеля зрение, ему все труднее было читать старые тексты. По временам ему казалось, что он никогда не доведет до конца этот труд.

На помощь ему пришла польская общественность. Если на «Нумизматику» подписывались главным образом иностранцы, то «Географию» поддержали соотечественники. Среди 262 подписчиков, которые авансом внесли плату за издание, было 150 поляков, среди них многочисленные аристократы во главе с князем Владиславом Чарторыским. В это время Лелевель уже сходил с политической сцены. Революционная волна после Весны Народов спала, и старые политические антагонизмы ощущались не так остро. Начинали также устанавливаться осложненные в течение долгого времени связи с Польшей. Для финансирования и рекламирования труда Лелевеля много сделал Северин Галензовский, знаменитый врач, живший в Париже, и не менее известный филантроп. Эта денежная помощь позволила довести до конца чрезвычайно дорогостоящее издание.

В 1849 году появился сначала «Атлас» средневековой географии из 35 таблиц, год спустя «приросток, дорosток или

излишний надросток» «Атласа» — новое, расширенное издание из 50 таблиц, а в 1852 году — сам труд в четырех томах общего объема около 1100 страниц. Через пять лет вышел еще дополнительный том, названный «Эпилогом». Общая стоимость издания превысила 10 тысяч франков, которые почти полностью были покрыты уже в тот момент, когда вышли в свет четыре основных тома.

В сравнении с более ранней «Нумизматикой» «География средних веков» является трудом менее совершенным. Это скорее огромное собрание неупорядоченных материалов, чем гармонически скомпонованное изложение. Руководящей нитью труда является похвала старым латинским и арабским мореходным картам, которые начиная уже с XII века все более тщательно воспроизводили, в чисто практических целях, наиболее часто посещаемые морские пути. Но в это время и даже позднее, до самого XVI века, ученые-теоретики как в христианских странах, так и среди народов ислама придерживались взглядов, унаследованных от античности, и составляли карты, все менее совпадающие с практическими наблюдениями.

Именно такие традиционные представления о мире заставили Колумба ожидать, что на том месте, где простирается Американский континент, должна находиться Япония либо Китай. Лишь после Колумба в результате великих открытий XVI века нарождается, прежде всего в Голландии, современная картография, которая умножающимся наблюдениям мореходов дала точную математическую основу.

Эту оригинальную концепцию развития географии Лелевель обосновывал на материале сотен старых карт со всего мира, которые он описывал и комментировал. Это было нередко весьма трудное задание: понять по стертым и нечетким рисункам, что они, собственно, должны изображать, каким местностям соответствуют неузнаваемо искаженные латинские или арабские надписи. «География» свидетельствует об огромной эрудиции автора, о его безграничном трудолюбии, а также о поразительном темпе работы. Но условия, в которых он трудился, делали чрезвычайно затруднительным упорядочение всего этого материала. По ходу писания, даже во время печатания, ученый получал новые карты и дополнительные информации. Отсюда хаотическая композиция громадного труда.

Свою основную концепцию автор изложил во введении, на полутора сотнях страниц. Затем в двух первых томах он дал более детальное изложение; последующие тома содержат уже только дополняющие материалы. Многочисленные экземпляры «Атласа»,

предназначенные для крупнейших библиотек и для ближайших друзей, Лелевель сам раскрасил от руки.

Стоит еще остановиться на том, чем завершились для Лелевеля с финансовой точки зрения те огромные издания, которые он запланировал, движимый научной страстью, но также и для того, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Состояния он на них не нажил, это точно. Но он и не доплачивал за них; наоборот, эти издания, хотя и относительно поздно, стали себя окупать. Когда обанкротился издатель «Нумизматики» Страшевич, о чем далее будет речь, Лелевель приобрел со скидкой часть оставшегося еще тиража своего труда. С этого времени он сбывал его через книготорговцев и получал регулярный, хотя и очень небольшой, доход. Подобным образом дело обстояло и с «Географией»: как отмечал сам Лелевель, «через несколько лет все затраты на издание были покрыты; теперь в следующие годы гравер, издатель и автор будут извлекать доход из продажи нескольких экземпляров в год». Чистым приобретением оказалось значительное увеличение личных коллекций ученого, которые комплектовались особенно при картографических исследованиях. «Сто двадцать с лишним фолиантов, почти триста томов разного объема, содержащих более десятка тысяч карт, — таковы собранные моими стараниями в течение восьми лет географические коллекции», — отмечал он не без гордости.

Разумеется, можно сказать, что скромные средства на почти нищенское пропитание, даже учитывая пополнение библиотеки, трудно считать особенно высоким гонораром за полтора десятка лет напряженного труда одного из лучших умов той эпохи. Однако естественно, что мир не награждает мудрецов в соответствии с их трудами и что люди, достойные имени ученых, не меряют свои достижения суммой денег, заработанных на этом труде. Подлинным сокровищем, которое добыл Лелевель, был именно его труд: продвижение вперед уровня и методов исследования в нескольких отраслях знаний, утверждение своей научной славы в европейском масштабе. В относительно узком кругу историков средневековья авторитет Лелевеля как знатока древних карт и монет возрастал непрерывно.

Об этом свидетельствовали все более частые устные и письменные консультации, которые он давал. Сейчас, более чем сто лет спустя, роль Лелевеля как пионера европейской науки в области средневековой нумизматики и картографии представляется, может быть, еще отчетливее. Эти две области науки продвинулись с того времени далеко вперед, но каждый специалист и в той и в другой области всегда отдает себе отчет, сколь многим это развитие обязано польскому историку.

10
История Польши

Исследования всеобщей истории, которыми занимался Лелевель в Брюсселе, в течение долгого времени вызывали среди эмиграции удивление и даже осуждение. Почему величайший польский историк, известный своим патриотизмом Лелевель занимается монетками Меровингов, вместо того чтобы писать труды по истории Польши? «Я полагаю, — отвечал Лелевель, — что нет нужды объяснять несостоятельность подобных восклицаний, когда я странствовал с сумою». Действительно, Лелевель оставил Францию лишь с небольшой котомкой. Все то, что было им собрано в течение многих лет работы над историей Польши, все книги, выписки, заметки он оставил в Варшаве. За границей он мог создать себе новую исследовательскую базу, но только для всеобщей истории; заниматься отечественной историей в научном плане он не мог без книг и источников. Он, правда, пробовал заполучить в Брюссель необходимые материалы из Варшавы. Но это было трудной задачей в условиях настороженности царских властей, видевших в Лелевеле опасного революционера. «Время шло, а посылки все нет как нет, вот и жди еще целые годы».

Ко времени ухода в эмиграцию Лелевель был уже автором большого числа трудов по истории Польши, среди них были как более узкие исследования, главным образом по периоду раннего средневековья, так и большие синтетические труды. Им была написана обширная «Польская история до конца правления Стефана Батория». Труд этот, правда, не был опубликован. Зато в 1829 году он издал уже упоминавшийся учебник для молодежи «История Польши, изложенная популярным образом», который сразу же приобрел широкое распространение. В полумемуарном стиле было написано «Правление Станислава Августа»; наконец, Лелевель написал уже упоминавшуюся чрезвычайно интересную «Историческую параллель между Испанией и Польшей в XVI, XVII и XVIII веках». В этих ранних работах он уже сформулировал концепцию всего польского исторического процесса. Но ноябрьское восстание, пережитое поражение и более поздний политический опыт стали стимулом углубления и уточнения этой концепции.

В первые недели пребывания в Брюсселе Лелевель собирался «подготовить польский исторический атлас в надежде, что это даст заработок». Из этого проекта ничего не вышло. Пока что он

мог думать лишь о переиздании своих старых работ, о переводе их на иностранные языки, о новых работах, не требующих научного аппарата, то есть работах скорее популярного характера. Во всех трех случаях речь шла не только о заработке, но также и о пропаганде прогрессивных принципов как среди соотечественников, так и среди западноевропейской общественности.

Уже в конце 1833 года он планировал новое издание своей популярной «Истории Польши», «Правления Станислава Августа» и «Исторической параллели»; однако и этот план пока не осуществился. Между тем Страшевич, уже известный нам издатель «Нумизматики средних веков», уговорил его заняться французским изданием «Истории Польши». Он обещал, что обеспечит образцовый, эффектный перевод, говорил о 3–5 тысячах тиража, о многотысячном доходе. Лелевель иронизировал по поводу этих воздушных замков, но его захватила сама мысль дать французским читателям доступный очерк истории Польши, который стал бы вместе с тем идейной декларацией польской демократии. Он не хотел менять конструкции своей книжки, написанной для польской молодежи, но решил снабдить ее обширными комментариями. Подготовленный ученым-политиком, этот комментарий перерос размером саму книгу, он стал как бы второй, углубленной историей Польши, в особенности социальной истории, истории крестьян и их взаимоотношений со шляхтой. Лелевель написал этот труд сразу по-французски в 1836 году; это были прославленные позднее «Размышления над историей Польши и ее народа». Неблагоприятное стечение обстоятельств привело к тому, что эта наиболее яркая из обобщающих работ Лелевеля ожидала публикации на французском языке восемь лет, польский же ее перевод появился почти двадцать лет спустя.

Дело в том, что надежды на Страшевича роковым образом подвели Лелевеля: Страшевич страшно затянул издание «Истории Польши», потом разболелся, наконец, сошел с ума и умер в больнице. Оказалось, что под еще неоконченное издание в типографии были сделаны долги, которые Лелевель не мог погасить. Его выручило тогда неожиданное предложение издать «Историю Польши» на английском языке и 1400 франков аванса под это издание. «Вот так гонорар, самый большой за всю мою жизнь!» «В августе 1839 года утром были получены 1400 франков, вечером их уже не было. Они пошли на уплату долгов».

Еще ранее Лелевель осуществил другое предприятие: он написал как бы продолжение своей популярной истории, доведенной до третьего раздела Польши. Новой книжке он дал

название «Польша возрождающаяся» и довел изложение до ноябрьского восстания включительно. Это была еще совсем свежая история. Представим себе сегодня профессора, специалиста по истории средних веков, который сразу по окончании второй мировой войны написал бы историю Польши 1914–1945 годов. Но Лелевель был не только профессором, но и активным политиком: сначала внимательным наблюдателем, а затем участником событий на первых ролях. И эта его книжка не является систематическим изложением; это очень личный рассказ, согретый горячим чувством, полный воспоминаний, анекдотов и полемических выпадов. В заключение Лелевель прямо обращался к читателю, ко всему молодому поколению эмиграции, с такой горячей декларацией веры и надежды: «Сейчас нет такого уголка в Европе, который бы не был… революционным вулканом… Раз таково развитие человечества… значит ни одна сила не помешает скорому освобождению народов». Рассматривая последовательно польские вооруженные выступления от Барской конфедерации до ноябрьского восстания, он отмечал, как от восстания к восстанию народ принимал в нем все более широкое участие, как с каждым поколением росли силы польских повстанцев. «Лишь слепой может не заметить этот могучий рост; очевидно, что борющийся народ Польши необычайно укрепится, если только поймет свои интересы, заключающиеся в социальном усовершенствовании, в освобождении простого народа. Скажем так: Польша возрождается в несчастье». Далее шло наставление, адресованное братьям-эмигрантам: «Не в дипломатии, не в помощи кабинетов будущая судьба Польши, а в восстании и освобождении народов. Грядущая Польша найдет самые естественные и самые лучшие элементы в своих собственных основах, в своих собственных способностях и силах». Книжка заканчивалась такой сильной нотой: «Помните прошлые испытания и будьте полны оптимизма, напевая песенку ваших отцов, ибо Польша не погибла, пока вы, молодые, живы».

Свою историю Польши после разделов Лелевель решил издать за собственный счет тиражом в тысячи экземпляров. Книга была актуальной, вызывала интерес, и издание разошлось быстро. «На «Польше возрождающейся» я имел чистого дохода 500 франков, это чудо, — писал Лелевель в 1838 году. — Раз так, следует взяться за карманные издания». За собственный счет переиздал Лелевель популярную «Историю Польши», а у книготорговца в Париже Евстахия Янушкевича — «Правление Станислава Августа». Янушкевич был сотрудником Лелевеля еще по парижскому Национальному комитету, позднее он завел

книжный магазин и небольшое книгоиздательство, которое неплохо развивалось; он издавал, в частности, произведения Мицкевича и Словацкого. Всегда верный дружбе с Лелевелем, он уплатил ему «щедрый» гонорар — 300 франков, а еще столько же за следующую популярную книжечку «История Литвы и Украины», доведенную до Люблинской унии. Однако и автор и издатель просчитались. Эмигрантский рынок оказался относительно узок, когда речь шла о уже известных или предназначенных для молодежи исторических книгах. В таких книгах весьма нуждалась Польша, но туда их не допускала полиция. В царской империи газетам было запрещено даже упоминать имя Лелевеля, а издатели в страхе перед властями уничтожали оставшиеся экземпляры его книг, изданных перед восстанием. Прошло восемь лет, прежде чем разошелся эмигрантский тираж популярной истории и прежде чем автор смог получить обратно вложенные в это издание несколько сот франков.

«У меня есть товар, но нет купца; даже хуже: я мастер, которому заказана работа, работа готова, а покупателя нет!» — так писал Лелевель о своих перипетиях с «Histoire de Pologne» («Историей Польши»). После банкротства и смерти Страшевича автор пробовал определить эту «сироту» к какому-либо из бельгийских издателей. Один из них ответил ему прямо: «Достаточно было бы мне издать хотя бы одну вашу работу, чтобы русское и большинство немецких правительств немедленно приняли бы крутые меры, чтобы сократить или даже полностью подорвать книготорговлю, которую я веду с Россией и Германией. Я не могу идти на такой риск». Сообщая об этом разговоре Антонию Островскому, который как раз только что издал брошюру о польских евреях, Лелевель шутил: «Вот совсем другое дело писать об Израиле: есть и типографии, и издатели, и сбыт; а когда речь идет об истории Польши, то нет ни издателя, ни печатника, ни читателя».

Между тем и англичане после выплаты аванса отказались от перевода «Истории Польши». Французы продолжали колебаться; «Это для них кислый фрукт», — констатировал Лелевель. Один из мелких издателей в Брюсселе предлагал истинно «бандитские» условия: весь доход достается ему, а автор должен оплатить возможные убытки. Наконец в 1843 году трое эмигрантов согласились финансировать издание «Истории Польши». «Они втроем заключили договор: Залеский и Янсен дают деньги, Черневский — свои труды, каждому по половине, а мне фига» — так комментировал автор ситуацию. Когда наконец было начато печатание, компаньоны уже бешено дрались за раздел будущих

доходов: «Жадные стяжатели грызутся из-за моих лохмотьев».

Книга вышла в двух томах в 1844 году. Вместо гонорара Лелевель получил для сбыта 400 экземпляров. В довершение зла оказалось, что в этой части тиража по ошибке карты не были раскрашены. Лелевель принялся раскрашивать их сам, работая над этим днем и ночью. «Месяц погублен, — жаловался он Зверковскому. — Как это вынести! Какие чувства я испытываю! Как выбраться из трясины, в которую меня толкает судьба? О господи! А тем временем расклеенные по Брюсселю афиши возвещают всем о выходе в свет de l'Histoire de Pologne. При этом известии свои и чужие спешат с визитами поздравить меня с богатством, склонить к презентам. А я, замученный, стою с кисточкой в руке над грудами атласов».

С таким трудом изданная книга была первой в XIX веке обобщающей историей Польши, предназначенной для европейского читателя; ею должны были широко пользоваться и интересующиеся этой тематикой специалисты. Это не было, однако, легкое для чтения произведение, поскольку оно состояло из двух совершенно различных работ: популярной «Истории» и значительно более сложных «Размышлений над историей Польши и ее народа». В первой части факты, в другой — комментарий; читатель должен был сопоставлять одно с другим. Язык перевода был неясный, неумелый; стиль Лелевеля, в польском оригинале приковывавший читателя, иностранцам казался странным.

Первые 24 экземпляра Лелевель неожиданным образом продал не далее как в Петербург, и эти экземпляры покрыли его собственные расходы. Однако в целом тираж расходился медленно; книгу продавало несколько книготорговцев, притом по конкурентным ценам — сначала по 20, затем по 14, 12 и даже по 9 франков за два тома. Цена книги падала всего ниже в те годы, когда «угасали симпатии к польскому делу». Тогда Лелевель скупал сам по дешевке экземпляры своей книги, чтобы продать ее при более благоприятных обстоятельствах, через несколько лет, с определенной выручкой. Как отмечал он полтора десятка лет спустя, «издание этой «Histoire de Pologne» помогло в какой-то мере продержаться в последующие годы, доставляя медяк за медяком тысячу, а может быть более, франков».

Для сбыта трудов по истории Польши наиболее тяжелым, как затем оказалось, было первое десятилетие. В 1840 году на прусский престол вступил новый король, Фридрих Вильгельм IV, который несколько более считался с немецким либеральным общественным мнением, лелеял планы объединения Германии и в связи с этим пробовал освободиться от зависимости от России. Отношения между Берлином и Петербургом ухудшились; в этих

условиях на некоторое время курс в отношении поляков на землях, захваченных Пруссией, был несколько смягчен. Это отразилось, в частности, на цензуре, стало возможно издание произведений писателей-эмигрантов. К Лелевелю сразу же обратился вроцлавский издатель Зыгмунт Шлеттер, предлагая осуществить новое издание популярной «Истории Польши». Ученый ответил: «У меня еще остается более 200 экземпляров изданного шесть лет назад карманного издания, но если хочешь, печатай! С богом!» Малая история Польши вышла во Вроцлаве в 1843 году под несколько измененным названием — «История Польши, рассказанная дядей племянникам». «Племянниками» дяди Иоахима были дети оставшегося в Польше младшего брата — Прота.

Новое, уже четвертое, издание этой книжки пришлось на годы возобновления в Польше демократической конспирации. Авторитет Лелевеля возрастал в патриотических кругах всех частей расчлененной Польши. Его книги становились орудием пропаганды, а налаженная теперь конспиративная сеть обеспечивала их доставку через границы королевства и Галиции. Этим объясняется успех вроцлавского издания. Первая тысяча экземпляров разошлась сразу. Через год Шлеттер дал «двойное издание», то есть две тысячи, а затем еще четвертую тысячу. С каждой тысячи он платил автору 200 франков; это была, по мнению Лелевеля, «помощь без труда, найденная на целые годы». Однако она кончилась, когда менее добросовестные Львовские, а затем и варшавские книготорговцы начали выпускать в свет «пиратские» издания популярной истории — разумеется, анонимные и приспособленные к требованиям цензуры. Автор был бессилен перед лицом этих злоупотреблений, лишающих его законного заработка.

По примеру Шлеттера в Брюссель обращались и другие издатели; каждый из них спрашивал: «А что у тебя есть готового?» Лелевель отвечал на это: «Старый хлам». Действительно, он не мог создавать новых работ без своих записей, над которыми словно тяготело какое-то проклятие. Семья Лелевеля отправила ему из Варшавы целую кипу бумаг еще в 1835 году. Для сохранности это богатство было разделено на две части, и одна послана через Познань, а другая через Краков. Обе посылки застряли в пути, а их владелец, не будучи предупрежден, не мог даже заявить жалобы. Лишь в 1841 году до него дошли пачки, посланные через Познань. «Когда они пришли, то старик не спешил развязывать их, много дней он глядел на них, повторяя: «Слишком поздно!» В конце концов он развязал их и нашел в них конспекты к своим старым университетским лекциям, материал, в

данный момент ни к чему не пригодный. В первый момент он снова завязал пачку шпагатом и бросил в угол комнаты со словами: «Семь лет в пути, семь лет на сохранении у покровителей, а я тем временем постарел, я уже слишком стар, чтобы извлечь пользу, какую мог бы семь лет назад».

Однако посылка не давала ему покоя: ведь это лишь часть его материалов. Где остальные? Дальнейшая переписка принесла год спустя ответ, что остальные материалы были в свое время высланы через Краков. Начали искать по этим новым следам, и в конце концов оказалось, что посылка застряла на складе в Берлине. Лишь в 1848 году ее привез в Брюссель один торговец шампанским. А между тем издатели добивались у Лелевеля новых работ. «По истории Польши! Но как же? Из пальца высосать?» — отвечал он в раздражении.

В 1843 году его посетил Ян Бобрович, предприимчивый владелец большой книгоиздательской фирмы в Лейпциге, специализирующейся на серьезной литературе. Лелевель предложил ему переиздание своих старых работ по медиевистике под названием «Польша средних веков». Когда же Бобрович с неохотой отнесся к переизданиям, Лелевель ручался, «что это будет не просто перепечатка старых работ, поскольку добавится много вновь написанных». Его уже привлекала новая тема: из публичной библиотеки он получил на дом хроники Длугоша и Кадлубка и после перерыва в полтора десятка лет вновь взялся за исследование польского средневековья.

Так возникло четырехтомное издание «Польша средних веков». «Старый хлам» обогащался и углублялся. Юношеская работа 1811 года «Заметки о Матеуше герба Холева» разрослась в большое исследование о польских средневековых хрониках. Другая работа — о связях польских королей с Германией — побудила Лелевеля заново исследовать историю трех первых Болеславов, в особенности Болеслава Смелого. Материал нескольких старых работ по истории права разросся в целый том исследований польского законодательства вплоть до ягеллонских времен. Издание растянулось на несколько лет. Тем временем Лелевель получил остальную часть своих записей. И на этот раз ученый повторил, что уже слишком поздно, чтобы все это использовать. Однако он сам поощрял себя: «Как и из прежних пачек, так и из этой возьми, используй, что можно и как можно».

Современного исследователя истории средневековья это собрание монографий быстро раздражит запутанностью стиля и странностью терминологии; он обнаружит пробелы в фактических данных, наткнется на утверждения или гипотезы, давно признанные ошибочными. Следует помнить, что Лелевель был

самоучкой, начинавшим свои исследования в области, еще абсолютно неизученной. Над источниками по истории раннего средневековья, над святым Станиславом, над историей первоначальных славянских культов и т. д. после Лелевеля трудилось несколько поколений ученых, вооруженных значительно более развитым исследовательским аппаратом. Наука развивалась на протяжении последнего столетия, и сегодня никто не обращается для текущих нужд к «Польше средних веков» Лелевеля. Однако никто не забудет того, что в этих исследованиях он был первым, что он пролагал путь своим преемникам, при этом иногда с поразительной интуицией. Возьмем как пример работу Лелевеля о падении Болеслава Смелого. Располагая лишь тремя текстами хроник, автор анализирует историю загадочного конфликта между королем и епископом Станиславом и проецирует ее на более широкий фон социальных конфликтов. В короле он видит представителя интересов народа, а в епископе — предводителя берущей верх шляхты. Эта концепция не находит подтверждения в источниках, и сегодня она не поддерживается. Тем не менее Лелевель сумел чрезвычайно точно определить в этой истории некоторые элементы: что король казнил епископа за измену, что епископ принадлежал к числу противников папы Григория VII, что политический конфликт имел здесь большее значение, чем вопрос моральный, вопрос преступления и покаяния короля. Столь ясно о вине епископа не решались писать преемники Лелевеля; лишь в начале XX века Тадеуш Войцеховский показал этот эпизод нашей истории в полном свете правды.

Мы уже упоминали трудности, с какими столкнулся Лелевель в связи с изданием «Польши средних веков». Переговоры с первым издателем, Бобровичем, не были доведены до успешного конца. За издание взялся Валентый Стефаньский, книготорговец из Познани и одновременно революционный деятель. Однако едва начался набор первого тома, как Стефаньского арестовали прусские власти. Вскоре вспыхнуло неудачное восстание 1846 года, одним из инициаторов которого был сам Стефаньский, руководитель тайного Союза плебеев. Казалось, что издание пропало, что затеряется даже рукопись автора. С трудом удалось выпустить в свет два первых тома в 1846–1847 годах. Позднее, уже после революции все издание взял в свои руки наиболее солидный из познаньских издателей Ян Константый Жупаньский и благополучно довел его до конца.

В 1851 году, как раз тогда, когда Лелевель отправил в типографию четвертый, последний том своего собрания исследований, он получил из Львова новую книгу на эту же

самую тему, только что изданное «Критическое введение в историю Польши» Августа Белёвского. Было нечто символическое в хронологическом совпадении двух книг. Белёвский, который был на двадцать лет моложе Лелевеля, начинал свою научную карьеру в момент, когда Лелевель уже ее заканчивал. «Критическое введение» Белёвского поднимало на значительно более высокий уровень метод анализа и издания источников, открывало новую эпоху в истории польской исторической науки. Начатая Белёвским огромная серия «Monumenta Poloniae Historica» остается по сей день важнейшей базой работы каждого исследователя истории средневековья.

Лелевель оценил фундаментальное значение этого труда. «Я был захвачен им, — писал он автору. — Мной овладела жажда изучения его в такой мере, что я был вынужден приостановить текущие работы, чтобы, насколько мне позволяют подорванные силы, усвоить его выводы. И хотя со многими из них мне приходится полемизировать, я необычайно рад тому, что эта история получила новое освещение». Под впечатлением чтения Белёвского Лелевель дополнил свою книгу еще одним разделом: «Новейший взгляд на Польшу средних веков». Он признавал, что после Белёвского он должен был бы, собственно говоря, переработать заново всю книгу. «Следовало бы — но это уже не мое дело, у меня для этого нет ни положения, ни средств, ни сил». Он ограничился лишь детальной полемикой и при этой оказии обратил внимание Белёвского на целый ряд действительных его недостатков. В целом же он выражал радость, «что после нас появились способные труженики, обеспеченные большими средствами, чем мы, которые оставят нас далеко за собой». Редкий, благородный жест со стороны истинного ученого, который не замалчивает момент, когда его перерастает следующее поколение.

Впрочем, сам Лелевель как исследователь и писатель отнюдь еще не сходил со сцены. Одновременно с «Польшей средних веков» он печатал, как нам уже известно, монументальную «Географию средних веков». Сразу же затем он выпустил в свет «толстенное произведение на 902 страницах» «Народы на славянских землях». Он заключил также с Жупаньским договор на издание собрания всех своих работ по истории Польши под общим названием «Польша, ее история и проблемы». Это издание, запланированное на семь томов, со временем разрослось почти до двух десятков и было доведено до конца уже после смерти ученого. Автор сам открыто признал, что это только собрание материалов. «Это не многотомная история. Я мог о ней мечтать, убеждать себя в том, что у меня есть способности, обманывать

себя тем, что есть возможности подняться на высоту этой задачи, однако такой истории нет, и я могу сказать, что на протяжении 70 прошедших лет я не мог найти благоприятного времени для ее написания.

«Нашей истории не везет на труды более обширных размеров», — заявил Лелевель в другом случае. Он не написал большой, связной истории Польши, но нельзя сказать, чтобы он не оставил нам в синтезе изложения того, как он понимал отечественную историю. В третьем томе издания Жупаньского в 1855 году он впервые опубликовал полный текст «Размышлений над историей Польши и ее народа», написанных по-французски 19 годами ранее. Фрагменты или сокращенные переработки польской версии он публиковал в брошюрах и газетах. Но лишь теперь, незадолго до смерти, он дал польскому читателю в самой Польше полное, аутентичное изложение своего взгляда на историю.

«Размышления над историей Польши и ее народа» являются конспектом истории Польши, написанным со специфической точки зрения. Эта история вековой борьбы двух главных классов нации — крестьян и шляхты. Наличие этих классов Лелевель отмечает уже на заре истории, до христианства. Некоторые историки выводили деление на кметей и шляхту из завоевания славянских земель какими-то иноземными пришельцами. Лелевель отвергает это предположение, он признает автохтонность и одного и другого класса, объясняет, как возрастало различие между ними вследствие естественных экономических процессов. Он полагает, впрочем, что в течение долгих веков оба класса имели равные права; ведь князь Земовит, основатель новой династии, был сыном кметя — Пяста. Только в XI веке, после подавления народного восстания под руководством Маслава, простой народ («гмин») оказался «пересилен», сословие кметей потеряло свои гражданские права.

Эта трактовка истории начала польского общества не соответствует, как теперь мы знаем, исторической истине. Ни один источник ничего не говорит нам о двух сословиях во времена первых Пястов — о кметях и шляхте — и об их предполагаемом равенстве; фантастична также лелевелевская этимология термина «кметь» от «уметь», а термина «шляхтич» (szlachcic, z-lechcic) — от лехитов. Однако нам вполне понятно, чем объясняется появление такого взгляда на историю в середине XIX века у руководящего борца и мыслителя польской демократии.

Эпоха, в которую жил Лелевель, была временем загнивания феодального строя в Польше. В стране усиливалась борьба за

освобождение крестьянства от гнета шляхты, за отмену феодальной зависимости, за землю и гражданские права для простого народа. Она переплеталась с борьбой за независимость: единственным рычагом возрождения тогдашние польские патриоты считали установление равенства сословий, вовлечение крестьян в борьбу. Лелевель служил этому делу всей своей жизнью, а следовательно, также и пером историка. Предшествующие историки, начиная от хрониста Галла в XII веке вплоть до епископа Нарушевича при дворе «короля Стася», служили интересам монархов и возвеличивали их. Лелевель первый почувствовал себя призванным написать историю всей нации. Эта нация была угнетена, а поэтому надлежало показать ее былое величие. Будущее нации зависело от победы демократии или, как выражался Лелевель, гминовладства. Следовательно, надо было доказать, что гминовладство является извечной и присущей Польше формой общественного строя, что своим прежним величием нация обязана гминовладству, а любые попытки установить деспотизм вели страну к гибели. Автор «Размышлений» восхваляет как первоначальное равенство кметей, так и «гминовладство шляхты» в XVI и XVII веках: «Один лишь шляхетский народ польской нации проникся идеей свободы и создал могучую республику, на всем земном шаре он самым первым оказался на это способен… Польша выдвинула принципы, к которым стремится старая Европа для того, чтобы помолодеть и улучшить положение своих жителей».

И этот тезис также имел актуальное звучание: демократические конспирации во времена Лелевеля опирались главным образом на элементы мелкобуржуазные или шляхетские по своему происхождению. Именно этой типичной для Польши «шляхетской демократии» XIX века Лелевель старался приписать прогрессивные традиции; он закрывал глаза на прежнюю анархичность и эгоизм шляхты, на угнетение крестьян и религиозную нетерпимость, восхваляя стремление шляхты к свободе и равенству. Все зло в Польше имело источником чуждые элементы, которые подрывали и искажали «национальный дух». Римская церковь отменила старое славянское богослужение и поставила Польшу на службу своим собственным интересам; средневековые города, основанные на «тевтонском» праве, оторвались от польского общества; короли из иноземных династий стремились подчинить свободных граждан своей самодержавной власти; прежде же всего магнатство, украсив себя чужеземными титулами князей и графов, уничтожило шляхетское гминовладство, ввергло страну в анархию и довело ее до гибели. Магнаты, Рим, иезуиты, монархизм, немцы-горожане — вот

каковы были для Лелевеля источники старых слабостей и старых грехов Польши. Осуждая их в прошлом, автор одновременно атаковал современный ему монархическо-аристократическо-католический лагерь, лагерь Чарторыского, с которым он вел политическую борьбу.

Как же это? — изумится читатель. Так, значит, Лелевель ради конкретных политических целей искажал историческую истину! Где же его научная добросовестность и чего тогда стоят все его исследования? Воздержимся, однако, от осуждений.

Каждый из нас сын своего времени: каждый дышит его атмосферой, впитывает в себя его убеждения. Каждый из нас, сознательно или несознательно, своей позицией, речами и действиями демонстрирует свою принадлежность к конкретной нации, классу, среде. Еще более очевидным образом это касается поэта, философа, историка. Их произведения и труды, даже написанные без мысли о политических целях, будут всегда носить на себе отпечаток эпохи и среды. Сам круг научных интересов историка, распределение симпатий и антипатий, подчас неосознанное, склонность к толкованию событий способом, обычным для своего времени, влияние читателей, — все это как-то окрашивает тот период истории, который автор пытается воссоздать.

Разумеется, мы не имеем здесь в виду продажных авторов, сознательных фальсификаторов истории. Но кабинетный ученый, занятый исключительно исследованиями, может легче принимать позу беспристрастия, чем историк, участвующий в политической жизни. Легче занять такую позицию исследователю античности, чем тому, кто пишет о совсем недавних событиях; легче человеку, живущему в так называемые спокойные времена, чем свидетелю непрерывных войн и переворотов. Оторваться от современности историк никогда не сможет; такое стремление было бы даже вредно для его труда. Он должен только отдавать себе отчет в этой зависимости, стараться поверять формулируемые оценки, уметь не закрывать глаза на аргументы, не совпадающие с собственным тезисом. Задача трудная, но и почетная и привлекательная. Именно она определяет гражданскую значимость профессии историка.

Возвратимся, однако, к Лелевелю.

Лелевель был по своим интересам исследователем далекого прошлого, и традиция, как мы уже видели, приписывала ему даже рассматривание в лупу пястовских монет в момент взрыва ноябрьского восстания. Но он посвятил свою жизнь национальному делу и свою работу над историей Польши считал составной частью своей общественной деятельности. Он был

также сыном эпохи романтизма, которая подымала, особенно в Польше, писателей до положения пророков и вождей нации. Его творчество развивалось в революционные времена, усиливающие политические страсти, когда трудно было взвешивать оценки. Следует учитывать все это, когда мы оцениваем большие исторические обобщения Лелевеля. Несомненно, они окрашены тенденцией к политической актуализации. Но даже если вычесть все те идеи, которые были опровергнуты позднейшими исследованиями, то и при всем этом лелевелевский синтез всегда сохранит значение огромного шага вперед в развитии взглядов на отечественную историю.

Прочное место среди великих творцов национальной историографии обеспечивает Лелевелю именно перемена точки зрения на предмет и существо истории. Все его предшественники принадлежали еще к феодальной эпохе; они писали историю королей, господ и рыцарства, историю войн и завоеваний. Лелевель созревал в период падения феодализма и, что особенно важно, принадлежал к числу борцов новой эпохи, которая над династиями и над шляхетским сословием стремилась поставить всю нацию. Такое расширение горизонта давало его творчеству огромный перевес над предшествующими трудами по истории Польши.

Это проявляется хотя бы в периодизации истории Польши. Раньше историю излагали по правлениям королей; после Польши Пястов наступала Польша Ягеллонов, затем избираемых королей. Лелевель первый применил деление истории Польши до потери ею независимости в соответствии с внутренними критериями. Он делил ее на четыре главных периода:

1) самодержавия первых Пястов, установленного над свободными и равными на заре истории ляхами и кметями;

2) можновладства (от смерти Болеслава Кривоустого, то есть от 1138 года до пакта в Кошицах, то есть до 1374 года), когда господствовали крупные духовные и светские феодалы;

3) гминовладства шляхты и ее растущих политических свобод (до рокота Зебжидовского, то есть до 1607 года), период высшего могущества Польши;

4) «смуты и упадка» по вине плохих монархов, магнатов и иезуитов (период, завершающийся третьим разделом).

После 1795 года начинается новый период «Польши возрождающейся», период борьбы за национальное и социальное освобождение, еще не завершенный.

Можно вести споры по поводу этого деления, давать иные названия отдельным периодам и передвигать их граничные даты; однако сама концепция именно такой периодизации устояла и

получила одобрение позднейших историков.

«Существует множество сочинений, освещающих историю наций, высокими достоинствами обладают и те сочинения, которые рассказывают об истории человечества; но вместе с тем нет недостатка в жалобах на то, что еще не создана история народных масс, ибо даже те труды, которые уделяли ей внимание, пытались осветить ее, не достигли своей цели». Так начинаются «Размышления над историей Польши и ее народа». Для демократа Лелевеля польская нация — это прежде всего массы; этим именно продиктована мысль написания этой истории, излагаемой с точки зрения интересов крестьянина. Уже в лелевелевской популярной истории Польши, предназначенной для молодежи, перевернуты традиционные пропорции изложения: в ней меньше говорится о войнах и династических отношениях, больше о социальных вопросах, обычаях и развитии культуры. В «Размышлениях» еще сильнее выдвинуты на первый план проблемы народа, проблемы его первоначальной свободы, постепенного закабаления и усиливающейся освободительной борьбы. Во времена колонизации на немецком праве, когда Польше грозил потоп чуждой стихии, именно простой народ, по мнению Лелевеля, был оплотом «осмеиваемой и оскорбляемой национальности». Именно простой народ сохранил польский облик Силезии и Восточной Пруссии, в то время когда короли и шляхта относились к этим провинциям с «непростительным равнодушием». «Казацкий бунт, — пишет Лелевель о выступлении Хмельницкого, — это восстание народа. В течение шести веков Польша не видела равного ему… Редкое в истории зрелище, зрелище поражающее и прекрасное!.. Оно тем более занимает нас, что в течение веков мы видели только рост угнетения и терпеливую покорность». Таким образом, взгляд на историю с точки зрения интересов простого народа имел следствием пересмотр многих конкретных оценок. Так, Лелевель оправдывал Хмельницкого, в то время как, например, Баторию бросал упрек, что, «сея тревогу в отношении шляхетских вольностей, он готовил печальные столкновения и смуты».

Развитие истории у Лелевеля представлено не научным способом, как мы его теперь понимаем. Ход событий в его представлении определяют отвлеченные силы: «гражданский дух» или «аристократический принцип». «Идея и понимание руководят шляхетским гмином», «Монархический принцип разжигает раздоры» — вот заголовки некоторых разделов. Сравнительно недавно в адрес Лелевеля направлялись упреки, что он не дорос до понимания научного социализма, что он не объяснял политической истории развитием производительных сил и

производственных отношений. Это были неосновательные упреки. В Польше первой половины XIX века, в стране, которая еще только стояла на пути ликвидации феодального строя, Лелевель не мог сам прийти к взглядам, выработанным Марксом и Энгельсом на основании знания общественных отношений Западной Европы. Не будем судить его за то, в чем последующие поколения оказались впереди него; оценим лучше те его достижения, где он превзошел своих предшественников и указал путь современникам.

Оторванный от университетов, лишенный контакта с молодежью, Лелевель не мог воспитывать молодое поколение историков. А между тем он создал школу, которую небезосновательно называют лелевелевской. Весь демократический лагерь в эмиграции и в Польше учил отечественную историю по Лелевелю. Крайнее левое течение, полемизирующее с Лелевелем, именно у него заимствовало обоснование своих программ. Мы находим следы его рассуждений в манифестах Польского демократического общества, в публикациях громады «Грудзёндз», в лекциях Мицкевича о славянских литературах, в публицистике великого революционера Эдварда Дембовского. Широко пользовались его книгами демократы других народов — Мадзини, Герцен, Бакунин, а также Маркс и Энгельс. Два плодовитых польских историка — Енджей Морачевский и Генрик Шмитт приступили в середине XIX века к созданию больших курсов истории Польши. Оба они писали в духе Лелевеля.

Лишь после его смерти, после январского восстания, в период спада революционной волны изменилось отношение науки к Лелевелю. Консервативная польская историография весьма сурово осудила его, относясь к нему почти с пренебрежением, обвиняя в ненаучности, неточности и тенденциозности по многим вопросам. Легко было делать замечания в адрес Лелевеля с высоты значительно более развитых исследовательских методов. Однако критиков Лелевеля возмущали, по существу, не его профессиональные недостатки и даже не его одобрительное отношение к шляхетской «золотой вольности». Историки краковской школы — Юзеф Шуйский и Михал Бобжиньский — атаковали в Лелевеле идеолога демократии, защитника интересов трудящихся и революционных стремлений. Поэтому уже на пороге XX века прогрессивное течение историков вновь с уважением стало относиться к Лелевелю как к отцу польской исторической науки. Тем более в народной Польше мы чтим в нем не только патриота и революционера, но также и новатора науки, мыслителя, к взглядам которого мы неоднократно теперь

обращаемся.

11
«Молодая Польша»

В двух предшествующих разделах мы занимались научной деятельностью Лелевеля, тем, что было его жизненной страстью, профессией, средством обеспечения независимого существования. Теперь нам следует обратиться к другой области его трудов, которыми он занимался по гражданскому долгу, занимался урывками хотя с большой дозой упорства и амбиции, впрочем всегда проникнутых любовью к родине, — к его общественной деятельности. В момент, когда Лелевель летом 1833 года покидал Францию, его первые политические начинания, предпринятые на чужбине, уже успели потерпеть поражение. Польский Национальный комитет был распущен французским правительством, а партизанская экспедиция Заливского потерпела неудачу. Противники Лелевеля из консервативного лагеря атаковали его теперь как виновника новых несчастий, обрушившихся на Польшу. Генерал Дверницкий, председатель Комитета польской эмиграции, осудил в воззвании партизанскую экспедицию как «преждевременное», «несчастное» событие. Лелевель находился тогда еще в Туре; он ответил Дверницкому частным письмом, которое, однако, циркулировало в копиях. «Я полагаю, — утверждал он, — что ни о преждевременности, ни о прекращении, ни о разочаровании мы не имеем оснований столь легко делать заключения». Сегодня осуждают — аргументировал он далее — тех, кто проявляет излишнюю смелость и идет на риск, но ноябрьское восстание потерпело поражение как раз, наоборот, из-за недостатка смелости! «Сегодня движимая благородным фанатизмом молодежь бросается в борьбу, время ли кричать ей — не время! А между тем раздаются дипломатические голоса, которые не перестают так кричать, которые кричат: преступление! Тяжело им будет держать ответ перед потомками!» В более позднем конфиденциальном письме воеводе Островскому Лелевель отрицал, будто он давал эмиссарам Заливского какие-либо инструкции. «Я не давал никаких никому. Если бы я не был слепым, то я пошел бы вместе с ними, и это была бы моя единственная инструкция. Но из-за того, что я физически немощен, мне остается только восхищаться их жертвенностью и разделять их убеждения, что только этим путем, только собственными силами наш народ может воспрянуть».

В это время Лелевель нашел повод более определенно высказаться по вопросу о путях, ведущих к освобождению

Польши. Перед самым выездом из Франции он прочитал брошюру некоего Михала Кубракевича «Замечания о конституции 3 мая». Автор, эмигрант и демократ, доказывал в ней, что «крестьянское сословие является законным владельцем земель, находящихся в его владении или захваченных у него», что «земля является общим достоянием всех людей, на котором должны трудиться лишь те, кто умеет, т. е. крестьяне, земледельцы». Отсюда следовала, по Кубракевичу, необходимость наделения крестьян землей. Эти «Замечания» как бы спровоцировали Лелевеля уточнить собственный взгляд на этот вопрос. Тут же, под влиянием первого впечатления, он написал еще в Туре на нескольких страницах ряд отдельных размышлений и послал в редакцию одной из газет. Статья была опубликована только в конце ноября в газете «Польский пилигрим» под названием «Мысли по поводу брошюры М. Кубракевича». Статья начиналась сильным тезисом: «Польская нация подымется и укрепится не иначе как благодаря сельскому народу, ибо всего более крестьян, мужиков. Полтора десятка лет назад я задавал вопрос: Польша потеряла Силезию и Пруссию из-за аристократии, как она их возвратит? И никто не умел ответить, что благодаря простому народу, демократии. Сейчас в изгнании найдется больше таких, кто даст правильный ответ».

Во время ноябрьского восстания Лелевель высказывался самое большее за наделение землей заслуженных солдат. Теперь он признавал, что справедливость требует пойти значительно дальше. «Надо отменить барщину, ибо она отвратительна… Много лучше там, где нет барщины, а уж бесконечно лучше там, где чистая собственность, где нет ни барщины, ни чиншей». Так сформулированный тезис означал, что все крестьяне, пользующиеся землей, должны получить ее в полную собственность без каких-либо повинностей в пользу прежних господ. Эта программа была в 30-х годах краеугольным камнем почти для всей эмиграции. Дальше пошла лишь крайняя левая, объединенная в громадах Люда Польского. Громады указывали, что наделение крестьян-владельцев оставит без земли крестьян, не имеющих надела, и сохранит экономическое господство владельца фольварка над деревней. В связи с этим громады заявляли, что вся земля должна стать собственностью народа и что тогда каждый земледелец будет получать от властей земельный надел в пожизненное пользование. Эти лозунги были сформулированы лишь в 1835–1836 годах. Лелевель никогда не пошел так далеко, хотя он отдавал себе отчет в том, что само наделение землей еще не разрешит крестьянского вопроса. Требуя отмены барщины, он мимоходом прибавлял: «Однако как

бы не возникло в будущем снова чего-либо обременительного для народа».

Само по себе требование наделения землей еще не говорило обо всем. Существовали разные способы наделения крестьян, и последствия такой реформы также могли быть разные. Можно было дать крестьянам землю законодательным актом, а можно было путем договоренности между крестьянами и шляхтой. В этом случае крестьяне были бы отягощены платой в пользу господ или в пользу государства; в этом случае от ликвидации феодальных учреждений выгадали бы главным образом крупные землевладельцы. Тот способ наделения землей, который, по существу, означал выкуп земли крестьянами, был принят в последующие десятилетия массой землевладельческой шляхты и реализован правительствами держав, разделивших Польшу.

Но был другой, революционный способ наделения крестьян землей: если бы его провозгласило повстанческое правительство, призывая крестьян к оружию, ликвидируя барщину и чинши, принуждая к реформе сопротивляющихся ей землевладельцев. В этих условиях крестьянин получил бы землю без выкупа и, следовательно, мог бы стать в новых, капиталистических условиях полностью независимым от помещика. В пользу такого способа наделения высказалось Демократическое общество в так называемом «Большом манифесте» 1836 года. Эту программу провозгласило десять лет спустя Национальное правительство в Краковском восстании.

В момент, когда Лелевель публиковал свои «Мысли», в 1833 году, два названных выше варианта решения крестьянского вопроса не были еще так четко сформулированы в общественном представлении. Сам Кубракевич, казалось бы весьма радикальный, не отвергал в «Замечаниях» возможности вознаграждения помещиков государством за потерянные доходы от барщины. Также и Лелевель в вопросе о способе осуществления наделения крестьян землей не занял крайней точки зрения: он скорее был за спокойную, полюбовную реформу, чем за революционные способы. А вот его аргументы: «Насилие не всегда достигает цели. Осуществить операцию насильно, отобрать у господ и олигархов в пользу крестьян, какой будет результат? Что за смятение? Что за стихии? Что за противоречия будут приведены в движение? Шляхта, магнаты, крестьяне, немцы, поляки, русины, евреи, схизматики, ляхи, деспоты из соседних государств, национальный вопрос! Землевладельцы перед лицом угрозы будут более рьяно оборонять свое, чем родину и свободу, а за собою будут иметь половину народа. Деспотизм протянет покровительственную лапу обеим сторонам. Прощай тогда

национальное дело, свобода и даже собственность!»

Таким образом, Лелевель был против насильственного переворота, опасаясь, как бы он не повредил самому восстанию. А вот что он предлагал взамен: «Добровольное соглашение, вытекающее из убеждения, может стать базой, на которой будет возведено прочное новое здание… Крестьянам в национальных имениях либо просто даровать то, чем они владеют, либо облегчить приобретение через Кредитное общество, а фольварки в национальных имениях полностью разделить между солдатами; крестьяне в наследственных помещичьих имениях: заставить господ пойти на соглашение с ними, склонить к дарованию, продаже…» Это была позиция бесспорно нерадикальная, но и отнюдь не прошляхетская. Обратим внимание на то, что автор пишет о том, чтобы «заставить господ», в ином месте он выражается так: «побудим массу, чтобы она требовала, надеялась и действовала, и дело придет к возрождению». Давление крестьянства на помещиков вынудило бы шляхту пойти на уступки, признанные неизбежными.

Сравнивая политические программы по крестьянскому вопросу, следует всегда учитывать обстоятельства и время их возникновения. «Мысли по поводу брошюры М. Кубракевича» относятся к самому началу формирования этих программ в эмиграции. Десять лет спустя подобная программа, быть может, расценивалась как консервативная. В 1833 году она имела прогрессивное звучание, хотя и отставала от лозунгов Демократического общества. В развитии взглядов самого Лелевеля она составляла большой шаг вперед.

В первые месяцы пребывания во Франции, стоя во главе Национального комитета, Лелевель решительно уклонялся от декларации по крестьянскому вопросу. Он ставил тогда целью объединение эмиграции и не хотел нарушать его программными проблемами. Теперь он переменил точку зрения: он убедился в том, что нельзя подвигнуть ни на шаг вперед дело освобождения Польши, пока не будет определена ясно программа ее будущей социальной реорганизации. Лелевель выдвигал такую программу; его статья была призвана стать исходным пунктом новой, широкой политической кампании.

Статья заканчивалась загадочной формулой: «Осуществить все это может лишь молодежь —*«Молодая Польша»*.В момент, когда автор писал эти слова, организация под таким названием еще не существовала. Зато была известна итальянская организация под подобным названием — «Молодая Италия». Ее основатель Джузеппе Мадзини, патриот и конспиратор, находящийся в Швейцарии, готовил новое революционное

движение, имеющее целью освобождение и объединение Италии. Как раз незадолго перед тем он обратился к Лелевелю с выражением глубокого уважения и предложением польско-итальянского союза для борьбы против деспотизма. Трудно утверждать, что Лелевель уже тогда завязал близкие политические связи с Мадзини; одно представляется несомненным, что брошенный им лозунг «Молодой Польши» основывался на примере Италии.

И вот, как бы независимо от инициативы Лелевеля, это наименование появляется на швейцарской земле, в непосредственной сфере влияния Мадзини. Как нам известно, весной 1833 года в Швейцарии нашли убежище несколько сот польских карбонариев. Путь возвращения во Францию им был отрезан; в самой Швейцарии их пребывание находилось под угрозой; не удивительно, что многие из них решили принять участие в подготавливаемом Мадзини революционном походе. В ноябре 1833 года одна из польских «гмин», или конспиративных ячеек, действующая в швейцарском городке Бьенн, приняла это имя — «Молодая Польша».

Нет никаких данных, что первоначально эта организация была каким-либо образом связана с Лелевелем. Тем не менее связи между Брюсселем и Бьенном были установлены очень быстро. Это было заслугой Шимона Конарского, недавнего эмиссара и участника экспедиции Заливского. Несколькими месяцами ранее ему почти чудом удалось спастись от гибели; возвращаясь в эмиграцию, он прибыл в Брюссель. В обносках, в дырявых сапогах, голодный, печальный и подавленный, он искал лишь возможности передохнуть, найти какой-нибудь заработок, пристанище. В таком настроении он посетил Лелевеля и вот что записал сразу же в своем дневнике: «Вчера вечером я был у Лелевеля, и искра надежды на реализацию стремлений, на то, что можно приложить свои силы к делу, которого я жажду душой и телом, уничтожила проекты поисков отдыха… и электрическим пламенем охватила все мое существо». Так на двадцать лет более старый Лелевель смог вдохнуть веру и надежду в молодого эмигранта, который вскоре вновь отправился в эмиссарское путешествие, на этот раз на мученическую смерть.

Мы мало знаем о дальнейшем сотрудничестве Лелевеля и Конарского; в своих планах они, как можно заключить, делали выводы из неуспеха последнего партизанского движения. Было очевидно, что страна в этот момент не способна подняться на вооруженную борьбу. Крестьянство казалось недоверчивым и холодным, землевладельческая шляхта — не склонной к жертвам, интеллигенция — неорганизованной. В стране нужно было еще

работать и работать, и как раз для этого была необходима новая организация. Эту задачу не выполнит Польское демократическое общество, поглощенное исключительно идеологической дискуссией и внутренними спорами. Нужна эмигрантская организация, которая была бы нацелена на деятельность в стране. В обширной памятной записке, предназначенной для эмиссара, фамилия которого нам неизвестна, Лелевель писал в декабре 1833 года: «Я убежден в том, что польский народ не может освободиться иначе как собственными силами самой Польши, чем большая масса будет вовлечена в движение, тем лучше, тем действеннее, тем быстрее. Не рассчитывать ни на какую помощь».

В это самое время Конарский выехал из Брюсселя в Швейцарию. В конце декабря он приехал в Вьенн и стал членом «Молодой Польши». Ход как более ранних, так и более поздних событий дает основание считать, что он действовал в определенной мере по договоренности с Лелевелем; во всяком случае, он содействовал политической эволюции «швейцарцев»: «Молодая Польша», первоначально лишь местная карбонарская ячейка, формально подчиненная приказам «Высочайшего шатра» в Париже, вскоре превратилась в самостоятельную организацию. Уже в ноябре 1833 года швейцарские поляки заключили формальное соглашение с Мадзини. В феврале 1834 года они приняли вместе с мадзинистами участие в вооруженном походе в Савойю, бывшую в то время провинцией Пьемонта. Экспедиция не удалась, но польско-итальянское политическое сотрудничество еще более окрепло. В апреле 1834 года в Берне была основана «Молодая Европа» как союз трех организаций — «Молодой Италии», «Молодой Польши» и «Молодой Германии». Месяц спустя в Швейцарии начал действовать Временный комитет «Молодой Польши».

Отношение Лелевеля к этой организации в начальный период определить довольно трудно. Создается впечатление, что, дав инициативу, он сам держался в стороне и ожидал, как разовьется его идея. Письма Лелевеля в это время полны криптонимов, чаще всего весьма примитивных: он трансформировал фамилии и географические названия, чтобы обмануть всегда возможный почтовый контроль. Париж в этих письмах назывался «Пожаром» или «Погожелью», Бельгия — «Бенгалией», Швейцария— «Шибургом», Галиция — «Галистаном», Лафайет выступал в его переписке под именем «Лафонтен», Чиньский — «Чупрыньский», Ворцель — «Восельский», Петкевич — «Печентарский» и т. д. Себя Лелевель называл «Лелюм». О «Молодой Польше» в своих письмах в течение долгого времени он вообще не упоминал; однако примечательно, что когда швейцарские деятели «Молодой

Польши» начали во Франции агитацию за вовлечение в свою организацию, то они обратились прежде всего к наиболее доверенным друзьям Лелевеля — Зверковскому и Петкевичу.

Валентый Зверковский, в прошлом наполеоновский офицер, был депутатом сейма и еще до восстания занимал вместе с Лелевелем место на левых скамьях сейма. В эмиграции, в Национальном комитете он и много более молодой Петкевич, в прошлом адъюнкт Виленского университета, были самыми верными сотрудниками председателя комитета — Лелевеля. Эту роль, как бы адъютантов и уполномоченных изгнанного в Брюссель главы, они выполняли и в последующие годы. Постоянно общаясь с эмиграцией в Париже и в провинциальных городах, они неустанно информировали Лелевеля и, в свою очередь, получали от него указания и доверительные сообщения, нередко перемежающиеся жалобами и выговорами. Однако вопреки видимости это не были пассивные исполнители данных им приказов. Особенно Зверковский отличался политическим темпераментом и лихорадочным стремлением к непрерывному действию. По способностям и характеру человек заурядный, он не мог ни в одной организации претендовать на первое место, но всегда усиленно старался занять второе место; он шел вперед, прикрываясь авторитетом Лелевеля, а точнее — втягивая его за собой во все новые, часто непродуманные предприятия. Лелевель знал недостатки своего приятеля и коллеги и не раз обращал на них его внимание, но Зверковский был удобным орудием: деятельный, вездесущий и хотя не всегда уравновешенный, однако неизменно верный и преданный. С помощью Зверковского и Петкевича Лелевель мог руководить из Брюсселя всем своим политическим лагерем; правда, это сотрудничество на расстоянии давало иногда хаотические и отчасти неожиданные результаты.

Предположительно уже в мае 1834 года Зверковский и Петкевич предложили Лелевелю сотрудничество с «Молодой Польшей». Он ответил им 5 июня сдержанно: «Делайте, что хотите, что можете. С известной горечью я буду, однако, Вам служить». Осенью того же года Зверковский и Петкевич настояли на переносе Временного комитета «Молодой Польши» из Швейцарии в Тур, где они оба проживали. Подчинив новую организацию своему влиянию, они довели до конца ее отделение от карбонаризма и начали стараться распространить влияние «Молодой Польши» и на Демократическое общество. Одновременно они воздействовали на Лелевеля, добиваясь от него детальных указаний, а особенно открытого присоединения.

Он сам отнюдь еще не проникся доверием к этому предприятию. Неудачный савойский поход был свидетельством

недостатка политического разума у основателей «Молодой Польши». Лелевель отмежевался от этой кампании, которую назвал «фарсом». «Я был бы рад, — писал он Петкевичу и Зверковскому, — если бы наши люди отделились от иностранцев и думали о себе. Я уважаю, люблю создателей М. П, но им не верю… чуть ветер подует, они отделятся, потому что им ближе снега Альп, льды Рейна, чем те деревья, которые должны зазеленеть на родной земле».

Эти упреки лишь частично были справедливы. «Молодая Польша» выросла на швейцарской земле из карбонаризма, представлявшего собой, по существу, международную организацию, обязанную слепо повиноваться тайному руководству, находящемуся в Париже. Однако «Молодая Польша» порвала с «Высочайшим шатром мира», а устанавливая контакт с Мадзини, уже не рассматривала этот союз как подчинение. Акт основания «Молодой Европы», подписанный в Берне 15 апреля 1834 года, характеризовал новый союз как «республиканскую конфедерацию всех народов, организованных каждый в соответствии с великим принципом национального единства, братски связанных друг с другом одной верой, общим религиозным, политическим и моральным исповеданием, общим кругом принципов, общим союзом, общим политическим правом, независимых друг от друга во всем том, что касается внутренних интересов, местных потребностей и развития разнообразных отраслей производства и моральных институтов».

Как было сказано, в состав «Молодой Европы» вошли сначала «Молодая Италия», «Молодая Польша» и «Молодая Германия»; позднее присоединились аналогичные организации — французская, швейцарская и другие. Связанные братским союзом, они считали себя равноправными и независимыми. «Мы убеждены, что каждый народ должен добиваться освобождения своими силами» — гласило одно из первых воззваний «Молодой Польши».

Ставя себе целью овладеть руководством над эмиграцией и страной, «Молодая Польша» не стремилась к массовой вербовке членов. Она хотела объединить лишь элиту, проникая во все сферы, чтобы руководить всеми из укрытия. Поэтому ее численность никогда не превышала 150 членов.

В Туре была сформулирована программа «Молодой Польши». Она должна была быть «содружеством свободных и равных между собой людей, объединенных стремлением реализовать предназначение человечества в национальной сфере». Властителем и законодателем в возрожденной Польше должен был стать народ, то есть «вся масса людей, составляющих нацию».

Отсюда следовало дальнейшее требование полной свободы и политического равенства всех граждан.

Прошло несколько месяцев, пока Лелевель формально присоединился к «Молодой Польше»; он принял тогда (в начале 1835 года) псевдоним Лешек из Люблина. Он все еще оговаривал, чтобы его не включали в состав вновь созданного руководящего органа — Центрального комитета; он не хотел быть номинальным руководителем, находящимся в Брюсселе на отлете и, возможно, обреченным на преследование, в то время как настоящее руководство будет находиться во Франции, в руках других людей. Он объяснял свою позицию Зверковскому: «[Лешек] будет служить делу, пусть так, но он не нуждается в чьей-либо опеке, чтобы его водили на помочах, и не видит, ради чего он должен был бы подставлять нос под щелчки». В сентябре 1835 года Лелевель все же вошел в «Постоянный» комитет «Молодой Польши». Кроме него, членами комитета были Винцентый Нешокоць, Кароль Штольцман, Зверковский и Петкевич. Два первых принадлежали к группе «швейцарцев», первоначальных основателей «Молодой Польши»; Лелевель не доверял им, как слишком слепо подчиненных влиянию Мадзини. Однако он вошел вместе с ними в комитет, рассчитывая, что через Зверковского и Петкевича обеспечит себе практически неограниченное влияние на руководство.

В отличие от своих коллег, занятых главным образом спорами среди эмиграции, Лелевель обращал свой взор к стране; «Молодую Польшу» он рассматривал как школу эмиссаров, направляемых для действия в Польше. По соображениям безопасности он решил отделить эмигрантские действия от деятельности в Польше и в феврале 1835 года создал новую организацию — «Союз детей польского народа». Это была строжайшим образом законспирированная организация, созданная исключительно для деятельности в стране. Лелевель, который в этой организации носил псевдоним Богун, сохранил за собой в ней почти диктаторскую власть; он был призван быть единственным звеном связи между «Молодой Польшей» в эмиграции и конспиративными организациями в самой Польше.

Теперь он с особенным рвением занялся отправлением эмиссаров: не для того, как два года назад, чтобы сразу возобновить вооруженную борьбу, но для того, чтобы руководить организационной и пропагандистской деятельностью в Польше, чтобы готовить страну к соответствующему времени. Первым уже в марте 1835 года отправился в Краков Тадеуш Жабицкий, кузен Лелевеля, везя при себе уставы «Молодой Польши». В июне вслед за ним отправились Шимон Конарский и Адольф Залеский. Перед

этим последним Лелевеля несколько раз предостерегали: Залеский якобы был еще связан с карбонарством и хотел выехать в Польшу в интересах карбонариев; кроме того, он принадлежал к радикалам и будто бы «все время болтал о том, что будет рубить головы шляхте и нам». Лелевель пропускал эти обвинения мимо ушей; он ориентировался в том, что конспирация в Польше остается в руках карбонариев и что лишь постепенно ее удастся завоевать для «Молодой Польши». Контроль за деятельностью своих посланцев он предполагал поддерживать до того времени, пока они не станут прочно на ноги. «Пробивать им путь и следить за их действиями, — так объяснял он свою политику. — Если дело у них пойдет, легко уже будет передать все им в руки, если же они поскользнутся, то останется, по крайней мере, подготовленная почва».

Эти расчеты не скоро оправдались. Эмиссары без помех добрались до Кракова, который как вольный город был тогда главным конспиративным центром для всей Польши. Они установили контакты с местными карбонариями и склонили их к принятию нового устава. По сути дела, конспиративные организации в Польше были недовольны зависимостью от «Шатра мира» в Париже и приветствовали реформу, которая предоставляла им большую свободу действий. В июле 1835 года в Кракове была основана новая организация, принявшая название «Содружество польского народа». Ее статут воспринял идеологию «Молодой Польши». Целью «Содружества» должно было быть «не только освобождение Польши от чужеземного гнета, но и полное омоложение нации… обеспечение безусловных и равных возможностей всем членам польского общества». Политическую жизнь освобожденной страны хотели основать на принципе равенства прав и обязанностей, чтобы каждый человек в соответствии со своим трудом принимал бы участке «в пользовании общим богатством». Под впечатлением первых успехов Конарский сообщал Лелевелю: «Будьте полны веры в будущее, будьте спокойны, воскрешение [Польши] наступит, может быть, быстрее, чем Вы думаете».

Первые шаги новой организации были действительно успешны. В течение немногих месяцев «Содружество» подчинило себе все карбонарские организации в Галиции, нашло опору в Варшаве, а вскоре распространило свою деятельность на Литву, Белоруссию и Украину, которые стали главным полем деятельности Конарского. Но связи с Брюсселем, с самого начала довольно трудные, оборвались весной 1836 года, когда вольный город Краков был оккупирован войсками трех держав-захватчиков. Вслед за этим начали изгонять из Кракова

проживавших там эмигрантов. Руководящий орган «Содружества польского народа», так называемое Главное собрание, должен был перебраться во Львов. «Краковская катастрофа ужасна, это остроленкское поражение», — писал Лелевель, приравнивая эту неудачу к крупнейшему поражению польских войск в 1831 году. Он задумывался, как быть дальше: «Спрятать ли руки в карманы и притихнуть или предпринять что-либо».

Вскоре донеслись еще худшие вести: Жабицкий был арестован и заключен в варшавскую цитадель. Лелевеля беспокоили, впрочем безосновательно, его показания: «Жабка, как расквакается, будет квакать черт знает что, напридумает, налжет, а других будут хлестать из-за него».

Несмотря на это, «Содружество» расширялось, но фактически уже как совершенно самостоятельная сила, независимая от «Молодой Польши», призвавшей его к жизни. Лелевель пересылал по указанным адресам небольшие партии печатных изданий, однако даже с Конарским не было постоянной связи — в течение двух с половиной лет он получил от него четыре письма.

В мае 1838 года Конарский был арестован. Он героически перенес многомесячное инквизиторское следствие, не выдав никого. В феврале 1839 года Конарский был расстрелян в Вильне. Еще раньше потерпела неудачу деятельность «Содружества польского народа» в Варшаве и в Галиции. Организация раскололась на крайнее, революционное крыло, настроенное антишляхетски, и умеренное крыло. Левые элементы стремились к подготовке восстания и начинали политическую агитацию среди городской бедноты и крестьян. Умеренные шарахались при виде собственной тени и откладывали на неопределенные годы саму мысль о вооруженном восстании. Уже в 1837 году левые вышли из «Содружества» и создали свою отдельную организацию, которая спустя несколько месяцев была разгромлена арестами. Правое крыло, боясь подобной участи, приостановило вообще конспиративную деятельность, что, впрочем, не уберегло его от подобных же репрессий несколько лет спустя. Австрийские и русские тюрьмы заполнились польскими патриотами; сотни людей были сосланы в Сибирь, десятки заключены в австрийские крепости Шпильберг и Куфштейн.

«Среди наших в стране ужасное потрясение… «Аугсбургская газета» перечислила поименно 15 арестованных в Вильне, среди них несколько моих прежних близких учеников, несколько знакомых… Тяжелые потери» — так записывал руководитель «Молодой Польши». Когда в это время к нему обращались по вопросу о посылке новых эмиссаров, он отказывался, говоря: «Я боюсь приложить руку к этому, ибо судьба гостей, которых я

обнимал, ужасна». Действительно, Конарский погиб, Жабицкий был сослан солдатом на Кавказ, Заливскии и Залеский находились в Куфштейне. Поэтому Лелевель отговаривал от новых попыток в стране; впрочем, он хорошо чувствовал, что все, что еще осталось там из конспиративных организаций, отвернулось от «Молодой Польши» и ищет контакта скорее с Демократическим обществом. Этот раздел политической деятельности Лелевеля был уже почти завершен.

Одному остался верен Лелевель — памяти Конарского, которого он еще при жизни называл «бесценным». Критикам погибшего он упорно отвечал: «Когда отрекаются от имени Шимона, я его считаю своим и не сделаю ничего, что бы не основывалось на нем. Я этого хочу и от этого не отступлю… Я хочу, чтобы не создавалось ничего нового, но чтобы все в какой бы то ни было форме, под каким бы то ни было названием исходило из того самого пункта, из какого двинулся Шимон… К чему бы я ни присоединился, я буду верен этому принципу, хотя бы он превратился в призрак». Он несколько раз организовывал в Брюсселе траурные торжества в честь Конарского; он с гордостью отмечал, что погибший герой был «посланцем эмиграции»; он приравнивал его к святым первоначального христианства. «О Конарский! — говорил он. — Ты проповедовал свободу и равенство и вызвал этим возмущение у аристократов и тиранов. Ты учил уважать человека и любить человечество. Ты проповедовал братство между людьми без различия сословия, вероисповедания и национальности… Воззри благосклонно на нашу юдоль, в своей вечной славе стань опекуном возрождения Польши».

Инсценированный подобным образом культ нового мученика должен был в какой-то мере оправдать «Молодую Польшу» и самого Лелевеля за то, что они начали предприятие, которое потерпело поражение и повлекло за собой столько жертв. Рассматривая историю «конарщины» с перспективы более чем в сто лет, мы уже не испытываем потребности обращаться к мистическим оправданиям. Правда, что все конспирации 30-х годов потерпели поражение, не доведя дела даже до локальной попытки вооруженного восстания. Правда также, что конспирации следующего десятилетия — более многочисленные и более смелые с точки зрения программы — уже не имели таких близких связей с Лелевелем. И все-таки трехлетняя деятельность «Содружества польского народа» не прошла бесплодно. Оно застало во всей стране разрозненные карбонарские ячейки, оно объединило их в одно целое и пропитало своей прогрессивной идеологией, идущей непосредственно из лелевелевской кузницы.

Параллельно с конспирацией в Польше и в связи с ней развивалась деятельность Лелевеля среди эмиграции. Она шла двумя потоками: совершенно явно в рамках «брюссельской гмины», которая объединяла большинство живших в городе поляков, и скрытно в узком кругу «Молодой Польши» и родственных ей организаций. Первое направление проявлялось в связи с национальными торжествами, особенно годовщиной 29 ноября. Лелевель придавал им большое значение и всегда выступал на них. В 1833 году, несколько недель спустя после прибытия в Брюссель, он организовал весьма торжественное празднование под председательством Жандебьена. На это празднество съехалось много бельгийцев из провинции, так что Лелевель шутил: «За эти дни потребление фаро и пива в Брюсселе поднимется на 100 %». (Фаро — популярный в Бельгии сорт пива из ржи.) Лелевеля предостерегали, чтобы он избегал в своей речи республиканских акцентов; он решительно заявил, «что у меня без этого не обойдется, разве если хотят, чтобы я не выступал». Празднование стало политической сенсацией.

В последующие годы — 1834–1837 — этот церемониал пришлось сократить в связи с угрозой репрессий в отношении польских эмигрантов. Поэтому «месса» отправлялась «только по-польски», иногда она была связана с обедом в складчину. Лелевель не был охотником до последней формы празднеств из-за неизбежного в этом случае «налога от брюха». Однако он всегда открывал торжества «внесением национального флага», а в своей речи касался актуальных политических проблем. В 1836 году на таком празднестве был принят «Манифест поляков, находящихся в Бельгии», в котором кредо было сформулировано в шести лозунгах: независимость, целостность, свобода, братство, равенство, человечность. «Манифест» выдвигал требование отмены барщины, при этом не дожидаясь, «пока слишком терпеливый народ потребует этого». «Общественность и родина требуют от владельцев отказа в пользу народа от той земли, которую они называли своей собственностью, а которой пользовался народ; от нее следует отказаться так, чтобы над ней не тяготело уже ничего частного».

В 1838 году, учитывая тот резонанс, какой создало Польше дело Конарского, Лелевель постановил вновь устроить ноябрьское празднество более широко. От друзей в управлении городом он получил для этого большой зал в великолепной готической ратуше. Утром после богослужения там состоялось польское торжество, после которого поляки возложили венки к подножию памятника жертв брюссельского восстания. Вечером состоялась вторая сессия с участием бельгийцев. «Три тысячи слушателей,

среди них сто женщин и т. д., студенты университета вошли торжественной процессией, все дома были иллюминированы, аплодисментам и овациям не было конца. Растроганность, плач и т. п. Все терпеливо слушали три часа от 7 до 10 вечера, а затем удовлетворенно разошлись». Полиция была настороже, опасаясь уличных беспорядков. От эмигрантов, получающих пособие, потребовали дать письменное обязательство, что «в случае беспорядков» они не примут в них участия. «Хорошо, что меня там не было, потому что я бы не подписал», — заявил Лелевель. С того времени и в последующие годы в ратуше происходило два торжественных празднования 29 ноября: утром польское, вечером бельгийское, оба с речами Лелевеля. Отчеты о них публиковал «Белый орел», выходивший с 1839 года орган эмиграции в Брюсселе.

Эти парадные торжества были связаны с попытками Лелевеля воздействовать на польскую эмиграцию. Почти каждая его речь, особенно адресованная только польской аудитории, содержала намеки на актуальное положение эмиграции и предложения или критические замечания в адрес противников. Вопрос, который более всего занимал Лелевеля в течение всего этого периода, был вопрос об объединении всех демократических течений эмиграции. От имени «Молодой Польши» более всего хлопотал об этом Зверковский, который вел переговоры то с карбонариями, то с Демократическим обществом, то с членами сейма, стараясь принадлежать ко всем организациям, принимать во всем участие и давать обо всем отчет Лелевелю. Этот последний по своему обычаю держался в стороне. Он по-прежнему критиковал карбонариев как «граждан всего мира, которые более полезны неграм и бедуинам, чем своим землякам». Демократическое общество он обвинял в применении «иезуитского» принципа: кто не с нами, тот против нас. Он не мог также примириться с его практикой исключения из общества всех противников каждого вновь избранного руководства Демократического общества. «Я понимаю Демократическое общество, — писал он, — как орудие пропаганды, распространения, популяризации доктрины, принципов, но общество, которое персонифицирует в себе самом демократию, является абсурдом».

В 1835 году из Демократического общества выделилась под руководством Кремповецкого и Ворцеля группа рядовых солдат — крестьян по происхождению, поселившихся в английском городе Портсмуте. Так возникла новая организация — громада Грудзёндз Люда Польского. Есть данные, что Лелевель «отчасти одобрял Грудзёндз», во всяком случае он начал интересоваться солдатами-крестьянами в эмиграции. Но это не повлекло дальнейших

последствий. Лелевель относился критически к действовавшим в громаде идеологам-интеллигентам, особенно к Кремповецкому; это окрашивало иронией все его высказывания о громаде.

Попытки объединения эмиграции под эгидой «Молодой Польши» были безуспешны. Французский карбонаризм в течение этих лет быстро эволюционировал влево, став преимущественно рабочим движением. В эту эволюцию польские эмигранты, в большинстве своем шляхетского происхождения и обращенные главным образом к аграрным проблемам, не включились. В этих условиях польский карбонаризм терял свое значение. Зато росло численно Демократическое общество, которое в ходе переговоров поставило «Молодой Польше» «жесткие условия»: все ее члены должны вступить в общество, а «Молодая Польша» должна стать органом общества по деятельности в Польше. Лелевель возмутился: «Эта идея субординации бессмысленна». Переговоры продолжались несколько месяцев, но не дали результатов. Общество ревниво охраняло свою независимость от любых посторонних влияний.

Потерпев неудачу в этом направлении, сторонники Лелевеля обратились к центристским группам эмиграции. Так называемый Комитет Дверницкого самораспустился в 1834 году в обстановке всеобщего безразличия, оставляя на своем месте политический вакуум. Лелевель через посредников пропагандировал теперь идею создания «конфедерации», которая объединила бы всю эмиграцию под знаменами свободы и социального равенства. Следуя этому предложению, генерал Дверницкий и посол Ян Ледуховский опубликовали в Париже в начале 1836 года шумный манифест от имени Конфедерации польской нации. Новая организация должна была создать верховную власть для эмиграции и страны. В ответ полиция выслала из Франции подписавших манифест. Новое начинание уже не оправилось после этого удара.

Упадок Конфедерации отозвался и на судьбе «Молодой Польши». Она теряла смысл своего существования, коль скоро ей не удалось объединить всех демократов-эмигрантов. Наиболее деятельные члены «Молодой Польши» отправились действовать в стране в качестве эмиссаров, другие, более радикальные, вступили в Демократическое общество; остальные же вместе с Лелевелем погрузились в бездействие. В начале 1837 года сам Лелевель задумывался над тем, существует ли вообще «Молодая Польша». В последующие годы Мадзини лично и через Штольцмана еще не раз обращался к Лелевелю, предлагая восстановить «Молодую Польшу» и польско-итальянский союз, но без результата. «Молодая Польша» в эмиграции замерла

одновременно с крушением ее начинаний в стране.

Разумеется, это не прервало попыток объединить эмиграцию, но несколько изменило их характер. Теперь уже трудно было думать о том, чтобы охватить всю демократию; но различные центристские элементы, люди без оформленных убеждений, деятели, исключенные из других организаций, по-прежнему искали общую платформу действий. В Лионе, в Пуатье, Париже и Лондоне с 1837 года вновь велись совещания об объединении эмиграции. Речь шла лишь о том, чтобы достаточное количество эмигрантов захотело принять участие в выборах еще одного комитета. Со всех сторон обращались к Лелевелю, единственному человеку, который мог своим авторитетом поддержать это начинание. Он сам писал на сей счет Петкевичу: «Если ты хочешь видеть осла, на которого все валят, то таков я здесь в Брюсселе… Все хотят болтать, болтай, осел; надо искать корчму для празднования годовщины, ищи, осел; надо что-то изобрести, придумывай, осел; надо что-то отредактировать, редактируй, осел». И Лелевель отредактировал от имени поляков в Брюсселе два «объединительных» воззвания, предлагая приступить к избранию нового национального комитета.

В Объединение польской эмиграции записалось вскоре более 2 тысяч эмигрантов, больше, чем было членов в Демократическом обществе. Эта многочисленность была источником не силы, а слабости, она свидетельствовала главным образом о политической бесцветности организации. Тем большим отрывом от действительности были претензии основателей, чтобы будущий комитет Объединения стал высшей властью над эмиграцией и страной, причем до момента освобождения Польши. Каждая эмигрантская организация заявляла тогда о своих правах на власть над страной, но Объединение было в худшей ситуации, поскольку оно еще не сумело даже создать тот комитет, которому уже намеревалось предоставить диктаторскую власть.

Масса членов Объединения жила в нескольких десятках населенных пунктов Франции, Англии и Бельгии. Им трудно было согласовывать выдвигаемые кандидатуры. Между тем Корреспондентская комиссия, которая организовала выборы, в силу внутренних несогласий не выдвигала своего предложения. Надо было выбрать комитет из пяти человек, так, чтобы каждый из них получил по крайней мере 2/3 поданных действительных голосов. Голоса эти пересылались почтой, что в те времена, когда едва начинали строить железные дороги, тянулось целыми месяцами. Первые выборы в комитет, проведенные в 1838 году, вообще не дали никакого результата из-за того, что голоса

раскололись. Во вторых выборах, состоявшихся лишь в 1840 году, необходимое большинство получили двое — Лелевель и Зверковский. На следующий год были назначены дополнительные выборы. В них приняло участие на 2346 членов Объединения 1586. Было выдвинуто 79 кандидатов, в комитет из них не прошел ни один. На этот раз уже скорее, только через четыре месяца, было организовано четвертое голосование. В нем участвовал 1661 человек, избраны были еще два члена комитета — Антоний Одынецкий и Юзеф Болеслав Островский. Этот последний был пасквилянтом, довольно популярным среди эмиграции, поскольку писал зло и остроумно, не оставляя ни на ком живого места. Кроме того, было известно, что Ю.Б.О., или «Ибусь», неразборчив в средствах и в политической борьбе не брезгует доносами (в действительности он был платным осведомителем французской полиции). Поэтому теперь Зверковский и Одынецкий заявили, что они не желают заседать в одном комитете с Ибусем. Организаторы Объединения завели сами себя в тупик.

Нужно было делать хорошую мину при плохой игре. В начале 1842 года Зверковский и Одынецкий прибыли в Брюссель. Лелевель назвал первого из них «старикашкой», а другого — «болезненной мумией». Пребывание их он описывал иронически: «Прожили тут целый месяц, я за них и думал и писал, был одновременно их товарищем, советчиком, проводником, председателем, референтом, референдарием, протоколистом, канцеляристом, экспедитором, копировщиком, и счастье мое, что не нужно было быть еще кассиром». Было решено действовать пока втроем в качестве Временного комитета. Одынецкий жил в Лилле, близ бельгийской границы, и мог приезжать в Брюссель. Но Зверковский возвратился в Версаль, где ему было назначено место пребывания французскими властями, и уже не принимал участия в дальнейших заседаниях. На практике комитетом руководил Лелевель, который согласовывал детали с Одынецким, а к Зверковскому обращался в случае расхождения мнений.

В июле 1843 года три избранника Объединения решились наконец издать воззвание, которым ставили эмиграцию в известность, что комитет начинает функционировать пока как «административный отдел». Воззвание это содержало также следующее кредо: «Акт объединения нашей эмиграции… требует: раскрепощения крестьян, наделения их землей без каких-нибудь условий, обеспечения свободы вероисповедания… и введения всеобщего национального образования… В будущей Польше ни один человек никоим образом не может зависеть от другого».

Эта формулировка означала дальнейший шаг вперед в

политической эволюции Лелевеля. Еще в 1836 году он ограничивался требованием, чтобы сами помещики отказались от барщины, за что могут ожидать возмещения. Новая формулировка, хотя и довольно общая, приближалась к программе Польского демократического общества. Разница была в структуре обеих организаций: в Объединение мог записаться каждый, в общество же принимали людей определенной политической окраски. По поводу Демократического общества Лелевель заявлял публично: «Я симпатизировал обществу, поскольку связывал с ним немалые надежды. Оно действительно содействовало обогащению многих умов, многих хотя бы на время вывело на добрый путь, но… вооружилось иезуитскими формами и иезуитским жалом. Оно эмигрировало из эмиграции, развернуло борьбу против эмиграции и создало самый болезненный раскол, схизму».

Орган общества «Польский демократ» отвечал на это, что Лелевель, может быть, разбирается в нумизматике, но пока не проявил политических талантов. «Лелевель хочет объединения всех: аристократии, шляхты и демократии… По Лелевелю, такое объединение было бы демократично, по нашему мнению, это была бы смесь хорошего и плохого, что-то, что находилось бы посредине между аристократией и демократией, чему нельзя было найти название, но что превосходно соответствовало бы прежним и нынешним представлениям либеральной шляхты». В 1844 году комитет Объединения еще раз предложил «слияние», объединение обеих организаций и совместное избрание нового руководства. Он получил, как всегда, ответ, что члены Объединения могут в индивидуальном порядке просить о приеме в Демократическое общество.

Без сильной поддержки со стороны эмиграции, без средств и деятелей Национальный комитет влачил жалкое существование, ограничиваясь публикацией воззваний и отчетов. Сам Лелевель говорил, что Объединение «омертвело». Он признавался по секрету Зверковскому: «Что это за правящий комитет, правительство всей эмиграции и страны! Комитет, признаем меж собой, такой же самозванец, как Чарторыский, Рыбиньский и компания, потому что, как и те, он не имеет опоры и должен еще ее себе создавать… Я не привык к такой роли и не хотел такую роль играть». В другой раз он шутил, что знаменитый Ринальдо Ринальдини напрасно пытался перестать быть бандитом, а он, Лелевель, безуспешно отказывается от председательства в комитете.

Ближайшие друзья возмущались переменами настроений Лелевеля, тем, что он постоянно выступает с инициативой,

побуждает других к действию, а затем сам уклоняется. Его нередко упрекали в том, что его политическое мнение «нечетко». Лелевель отвечал, что «нечетка» масса эмигрантов, которая требует от него невозможного. Однажды Леонард Ходзько написал ему на эту тему целую проповедь. Лелевель же, задетый за живое, исписал поля письма Ходзьки своими репликами. Вот фрагмент этой полемики в ее живом звучании:

Ходзько: «Теорию ты понимаешь превосходно (Лелевель: никакую), но практику никогда (Лелевель: потому что у меня ее нет)… Поскольку твое имя стало символом общественного деятеля, то от тебя всегда и во всем должна была исходить инициатива, а ты всегда оставался позади и ожидал, что сделает масса… В политике все зависит от практического воздействия, от физической подвижности (Лелевель: свяжи руки и ноги и говори о подвижности), а нередко от патриотической решимости и от больших материальных ресурсов, если же у кого-либо не хватает этих данных, то пусть не берется за дело… Бог и слава определили для тебя чисто литературное призвание, но судьба толкнула тебя на поле политики, которая всегда и везде была абсолютно противопоказана твоему характеру, привычкам и натуре». Ходзько закончил рекомендацией, чтобы Лелевель отказался от политики, сославшись на «ослабленную силу»; здесь Лелевель дописал: «Тьфу!»

Придя в себя, он ответил Ходзьке обстоятельно и спокойно, что он не чувствует себя виновным в своих поражениях в 1831 и 1832 годах. «Я виноват в том, что имел в качестве сотоварища Черта (Чарторыского — в Национальном правительстве); я виноват в том, что имел Гуровского (изменника — в Национальном комитете); я виноват, что получал и получил (окончание этой фразы скромная публикаторша заменила отточием)… и не знаю практической жизни. Может быть, я и не знаю, может быть, я и растяпа, может быть, недостаточно подвижен и не хватает мне решимости; чего уж мне, бесспорно, не хватает, так это материальных средств, однако не делай меня теоретиком, потому что я им не являюсь, никогда не был и ни при каких обстоятельствах им бы не стал». Далее он писал (не совсем основательно), что от момента выселения из Франции «я шел по твоим стопам, устранился от политической жизни и провел десять лет в брюссельской корчме, всегда готовый покинуть этот мир; однако смерть не пришла вовремя. Отказаться, но как и когда, это не просто: сослаться на болезнь? она проходит; на неспособность, невозможность? скажут: лжешь, плюнут в глаза; на возраст? Об этом я сейчас знаю и без твоего совета, но десять лет назад я был моложе». Он добавлял, что и на научном поприще

его успехи не больше, чем на общественном.

Нагоняй Ходзьки произвел, однако, на него впечатление. Уже в следующем публичном выступлении на ноябрьском празднике 1843 года Лелевель упрекнул Объединение в том, что комитет избран неудачно. «К чему вы избрали в него стариков? Разве нет среди вас молодых, способных людей? Вы сделали ошибку, ее надо поправить — изменить состав комитета… Что касается меня, то я стар:

День мой клонится к закату,
Уж я не тот, что был когда-то».

Было бы ошибкой утверждать, что недостаток решимости и колебания Лелевеля были причиной бессилия Объединения польской эмиграции. Центристские группировки в нормальных политических условиях могут нередко завоевывать власть и удерживать ее. Но в идеологической борьбе, которая велась в эмиграции, преимущество оказывалось у крайних лагерей. Важно нечто иное: почему получалось так, что Лелевель, идеолог и авторитет польской демократии, притягивал к себе как раз центристские элементы?

Одна из причин заключалась именно в том, что он подчеркивал в письме к Ходзьке: Лелевель не был теоретиком. Из исторической практики он вынес критицизм и недоверие к резкой, абсолютной постановке требований. В политических спорах, так же как и в научных, он взвешивал аргументы «за» и «против», вслух размышлял перед своими слушателями. Они же всегда ожидали от него простых и недвусмысленных решений, руководства и всегда уходили разочарованными. Ученый делился с ними своей верой в воскрешение Польши, в республику, равенство сословий и социальную справедливость. Но когда дело доходило до конкретных вопросов, у него возникали тысячи сомнений: следует ли отстранять шляхту от работы для родины? Как осуществить наделение землей? Можно ли навязывать свою программу стране? В этих колебаниях Лелевель не был одинок; точно так же размышляла и колебалась значительная часть шляхетской интеллигенции. Вся эта социальная группа уже уверовала в будущее новой Польши, но еще не могла оторваться от старой Польши. Она напрасно воображала, что сможет наметить для нации какой-то средний путь, что сможет подчинить своему руководству и имущую шляхту, и народные массы.

В кругу этих иллюзий жил и Лелевель: не только в период ноябрьского восстания, но и в первые годы эмиграции. Он отсекал

от нации «как прогнивший нарыв» только магнатство; он верил, что ему удастся убедить остальную часть шляхты в необходимости жертв в пользу простого народа, склонить ее к отказу от барщины. Однако приближались новые времена: в Польше дозревало восстание, росло крестьянское сопротивление против помещиков, долго сдерживаемая классовая ненависть вскоре должна была вспыхнуть ярким пламенем. Нарастающая революционная ситуация принудит и Лелевеля изменить его позиции.

12
Среди зарниц революции

В конце 1836 года Лелевель сообщал брату, жившему в Швейцарии: «У меня тут недавно было удивительное сочетание людей: кроме итальянцев, французов, бельгийцев, которых всегда приходится видеть многих, были бразилец, мадьяр, ганноверец, валах, вестфалец, мадагаскарец, русский». Такие информации повторялись нередко в письмах Лелевеля. Великий ученый и «патриарх польской демократии» становился постепенно славой не только брюссельского масштаба. Туристы, посещающие Бельгию, путешествующие ученые и, разумеется, политические эмигранты различных национальностей находили дорогу на Дубовую улицу в комнату Лелевеля: чтобы побеседовать одни — со знаменитым специалистом по нумизматике, другие — с тайным руководителем «Молодой Польши», третьи — просто с чрезвычайно интересным человеком.

Среди этих гостей встречались и русские, иногда старые знакомые времен доноябрьского восстания. Лелевель любил эти беседы, в которых нередко его гость позволял себе высказать свою неприязнь к царизму. Дружеское отношение Лелевеля к русским не было ни для кого секретом; ведь это он был автором девиза «за нашу и вашу свободу», с которым ноябрьское восстание обращалось к царским солдатам. В самом начале эмиграции Лелевель опубликовал революционное воззвание к русским, за что был выслан из Парижа. По прибытии в Брюссель, 25 января 1834 года Лелевель организовал торжество в честь декабристов, точно в третью годовщину подобного торжества, какое состоялось в восставшей Варшаве. Свою речь он закончил здравицей в честь нового русского поколения, которое примет от декабристов традицию борьбы с царизмом.

С этого времени он с пристальным вниманием следил за редкими известиями, приходящими из глубины России: о крестьянских волнениях, о неподчинении в армии, о загадочно распространяющихся пожарах. Уже в конце 1833 года он выдвинул тезис, что Польша возродится не по милости Запада, а «лишь благодаря высвобождению России из фрунта и разгрому Пруссии и Австрии, при этом в одно и то же время». Поэтому он так настойчиво рекомендовал Конарскому искать контакты с революционным движением в России. Когда в начале 1844 года он узнал о новых арестах в Познани, реакция его была весьма характерна: «Может быть, это полностью парализует Великую

Польшу, но это не беда, это пробуждение, напоминание, это произведет большой эффект, распространись в сторону России, и лучше, чтобы пожар занялся оттуда».

В июне того же 1844 года к Лелевелю явился русский, не похожий на предшественников: это был человек уже тридцатилетний, но полный юношеского темперамента, помещик из Тверской губернии, находящийся за границей легально, для занятий философией, — Михаил Бакунин. Этот гость стал перед Лелевелем как ученик перед учителем; он с энтузиазмом принял теорию об исконном гминовладстве славян и доказывал, что русская деревня сохранила еще древний дух равенства и институты совместного владения землей, что именно из крестьянства придет возрождение России. Бакунин утверждал, что под гнетом Николая в России накопилось много горючего материала, он заявлял сам готовность сотрудничества с поляками для борьбы против общего врага. Лелевель был очарован этим страстным, вулканическим человеком. Давая Бакунину рекомендательные письма друзьям во Францию, он писал: «Юноша заслуживает того, чтобы оказать ему внимание». Бакунин перевел и слегка переделал воззвание Лелевеля к русским 1832 года, а комитет Объединения должен был найти способ переправить его в Россию в большом числе экземпляров.

Визит Бакунина был для Лелевеля одним из первых сигналов приближающейся в Европе революции. Одновременно до него доходили волнующие известия из Польши. «В Познани и Познаньском княжестве неописуемое брожение, — записывал он 2 февраля 1844 года. — То, что сообщают газеты, это ничто, это слабо. Бурлят все классы. Наверное, в данный момент из этого ничего не последует, но какие-то чрезвычайные события на нашей земле надвигаются и скоро произойдут». Революционное брожение в Польше было действительно результатом деятельности тайных союзов. Самые смелые и самые радикальные из этих союзов возникали совершенно самостоятельно. Некоторые имели связи с Централизацией Демократического общества, находящейся в Версале. Со времени ареста Конарского Лелевель уже не восстановил свое прежнее влияние на конспирацию в стране. У него, правда, сохранились контакты с отдельными организациями, но он не мог ими руководить; в этой области его решительно опередила версальская Централизация.

В начале 1844 года — как кажется, после долгого перерыва — он направил в Польшу эмиссара. В июле он получил рапорт, содержание которого излагал Зверковскому: «В королевстве и в губерниях (т. е. в Литве, Белоруссии и Украине) все готовится в большом масштабе, тихо и энергично, сердце каждого кипит, все

гласит: настало время!..Демократическое зерно родило колосья. Одна лишь шляхта, как бы потрясенная величием замысла, остается в созерцании и бездействии, не отказывая, впрочем, в деньгах на различные общественные цели. Демократическая пропаганда… распространяется повсюду. Крестьян наставляют, что то, что они заберут, принадлежит им, а тот, кто не с ними, тот против них».

Под впечатлением этих сообщений Лелевель пришел к мысли, что комитет Объединения также должен выступить с воззванием к простому народу. Он писал это воззвание сам, долго и с немалым трудом, избегая как диалектных «мазурских выражений», так и иностранной терминологии, стараясь формулировать «кратко и адресоваться непосредственно к привычным народу понятиям». По совету коллег он согласился, хотя и с неохотой, ввести в самом начале воззвания несколько религиозных моментов. Воззвание к народу рисовало печальную картину судеб угнетенной Польши. «Вы скажете, что виновниками этого несчастья являются паны. Мы этого не отрицаем. Но если паны столько напортили, то вам надлежит спасать родину без панов… В будущей Польше каждый сам себе будет паном, каждый будет иметь свою землю… Не будет ни барщины, ни тягостных поборов за пропинацию[1], ни какой-либо даремщины или толок[2]. Каждый будет работать сам на себя, а не один на другого». Воззвание заканчивалось громким призывом: «Пробудись, народ! Восстань, возьмись за оружие в защиту родины и оскорбленного бога. Познай свои силы — они достаточны, чтобы уничтожить всех врагов… Начинайте сами и восстаньте! Никто вас не покинет, все пойдут за вами, ибо необходимо, чтобы все двинулись вместе…»

Эти слова могут свидетельствовать об эволюции взглядов Лелевеля под впечатлением нарастающих событий. На страну эти слова не оказали влияния. Воззвание к народу согласовывали между собой члены комитета Объединения; они издали его в Брюсселе лишь в январе 1845 года. Неизвестно, удалось ли его переслать в Польшу и в каком количестве, читал ли кто-нибудь его крестьянам. Между тем уже в октябре 1844 года потерпела неудачу первая попытка крестьянского национального восстания. Ксендз Петр Сцегенный, крестьянский сын, который в течение нескольких лет готовил народ к борьбе за свободу и социальное равенство, был арестован, а его организация разгромлена накануне намеченного восстания.

Среди таких известий, волнующих и тревожных, Лелевелю пришлось организовывать в 1844 году обычное ноябрьское торжество. Его изумило одно обстоятельство: на этот раз на

вечернее, «бельгийское» торжество записалось двенадцать ораторов, в то время как обычно удавалось уговорить выступить двух-трех иностранцев. Как определил Лелевель, «бельгийцы намерены зажарить свое жаркое на том же вертеле». Это ему было по душе: он терпеть не мог, когда ораторы-иностранцы в подобных случаях читали полякам проповеди, как им следует поступать; напротив, он радовался, когда польское дело мобилизовывало демократов других народов. «Бельгийцы при наших торжествах жарят свое жаркое и правильно делают, ведь это общее дело», — писал он под впечатлением ноябрьского торжества. В этом году в зале ратуши было меньше дам и богатых купцов, зато пришли в большом числе «оружейники, кабатчики, представители народа и народного дела». Лелевель потирал руки: «Я доволен бельгийцами, что у них такое же жаркое, как у нас».

Несколько недель спустя, 17 декабря, его неожиданно посетил Эдвард Дембовский, молодой конспиратор, об аресте которого в Познани Лелевелю сообщали не так давно. Прусская полиция выслала его из Познаньского княжества; Дембовский отправился на Запад для того, чтобы перед возвращением к конспиративной деятельности установить контакты с эмиграцией. Лелевель никому не упоминал об этой беседе, зато Дембовский сообщил о ней в письме жене: «Сегодня утром я был у Лелевеля… Когда я увидел почтенного старца, историка и великого политика, живущего сейчас в ужасающей нужде, в комнатке на чердаке, куда проходят через грязную харчевню, — когда я увидел его в сюртуке, залатанном собственноручно, я заплакал, ибо какова судьба каждого из эмигрантов, если такой великий муж, как Лелевель, так сейчас страдает. Беседа с Лелевелем произвела на меня огромное впечатление». Понятно, что в обычном письме, отправленном по почте, Дембовский не мог написать ничего более.

Что бы для нас значило сейчас обстоятельное сообщение об этой встрече «отца польской демократии» с самым пламенным ее борцом! Дембовский мог рассказать Лелевелю о развитии конспирации в стране, о возможностях поднять народ на восстание, о противодействии аристократии и колебаниях версальской Централизации. Он мог также заявить, что ставит себе целью как можно быстрее довести дело до вооруженного выступления.

Как ранее при встрече с Бакуниным, Лелевель был захвачен энергией этого необыкновенного двадцатидвухлетнего юноши. Есть данные, что он отсоветовал ему ехать во Францию, а тем самым воспрепятствовал его контакту с версальской Централизацией. Из Брюсселя Дембовский отправился прямо в

Лондон. Возможно, это означало, что в том споре, который тогда происходил между Централизацией и конспираторами в самой Польше, — ждать ли еще или восставать немедленно, Лелевель принял сторону более горячих и более радикальных элементов конспирации в стране.

Следующий год — 1845-й — прошел во всех трех частях Польши под знаком усиленных повстанческих приготовлений. Версальская Централизация, не имея возможности уже далее оттягивать вооруженное выступление, согласилась принять на себя руководство им; вождем восстания она назначила Людвика Мерославского. «В разных пунктах что-то приближается, — писал Лелевель в марте 1845 года. — Пожалуй, не пройдет и года, а в нескольких пунктах вспыхнет пожар… Наши живы, это главное! А эмиграция — труп».

Если и не всей эмиграции, то, во всяком случае, самому близкому Лелевелю Объединению грозила скорая естественная смерть. Бездеятельность организации влекла за собой переход более энергичных членов в Демократическое общество. Летом 1845 года в Объединении были проведены пятые выборы в Национальный комитет. Из 2450 номинальных членов голосовало уже только 700. Были избраны Ворцель, Лелевель, Зверковский, Штольцман и Винцентий Тышкевич. Этот последний отказался участвовать в комитете, который начал действовать в составе четырех человек. Свое первое воззвание он завершил в боевом тоне: «Кипит кровь в жилах, тлеет пожар. Мы чувствуем ускоренное биение сердец и приближающуюся минуту боя и победы; ибо ничто не воскресит Польшу, ничто не обеспечит ей победу, как только оружие и бой… Будьте настороже, прислушивайтесь, занимайте свои посты, беритесь за руки, чтобы действовать вместе. Когда прогремит призыв народа к оружию, настанет конец эмигрантскому долгу, но начало действия для Польши наступит лишь для тех, кто был до конца верен исполнению этого долга».

В течение следующей зимы до Лелевеля доходили вести из страны о растущем брожении среди крестьян. «Внимательные наблюдатели отмечают сильное брожение среди православных простолюдинов на Украине и Побережье (старинное название Поднестровья); они предвидят, что не пройдет и года, как могут произойти ужасные события. Этим может воспользоваться царь». Лелевель пытался предотвратить эту опасность, составляя новое воззвание — «Землякам на Украине». Этот текст заслуживает внимания: он проливает свет на чрезвычайные трудности, с которыми сталкивалось тогдашнее поколение польских патриотов.

Люди, родившиеся, как и сам Лелевель, еще во времена старой Речи Посполитой, люди, которые целью своей жизни считали уничтожение преступного раздела Польши, такие люди, естественно, представляли себе Польшу в ее границах до раздела. Каждое стремление к «неполной» Польше они расценивали как пагубный компромисс; Чарторыского осуждали именно за то, что в дипломатических переговорах он ограничивал требования территорией королевства, созданного Венским конгрессом. Лозунг границ 1772 года был, таким образом, общим для всей польской эмиграции, этот лозунг признавал и Лелевель. «Всякое уменьшение древних границ следует оценивать как ущемление интересов нации, нарушение ее независимости». Такое заявление в устах Лелевеля не означало стремления угнетать братские народы. Наоборот, Лелевель представлял себе, что освобожденная демократическая родина исправит грехи шляхетской Речи Посполитой, что она сделает равными между собой все племена, сословия и вероисповедания, что она обеспечит литовцам и украинцам равные нрава с поляками.

Будущее должно было показать, что это были иллюзии, и притом опасные иллюзии. Во всей восточной части старой Речи Посполитой польский элемент представляла прежде всего шляхта. Тот, кто хотел возобновить борьбу за эти земли, должен был искать поддержки у шляхты, в польских усадьбах. А эти усадьбы по-прежнему жили за счет барщины, за счет эксплуатации крестьян. Тот, кто жил в помещичьей усадьбе, закрывал себе путь в литовскую, белорусскую или украинскую деревню, не мог завоевать доверия крестьян. С этой дилеммой мучился Конарский в течение двух лет своей эмиссарской деятельности. Чтобы освободить Польшу, нужно было поднять на борьбу массы, а значит, низвергнуть шляхетские привилегии. Но тот, кто боролся с господством шляхты, одновременно нарушал польское «владельческое право» на востоке, шел на риск утраты границ до разделов.

Представляя себе это положение, мы лучше поймем воззвание, которое опубликовал Лелевель 3 февраля 1846 года. Это воззвание было обращено к полякам-помещикам на Украине; оно напоминало им уманьскую резню и указывало на угрозу столкновений между шляхтой и крестьянством. «Но кому же удобнее, кому уместнее разрушать эти преграды, как не землевладельцам? Кто, как не они, ежедневно общается с сельским людом? Приближаясь к народу делом, словом, вниманием, они могут оказывать на него благотворное влияние». Пусть шляхта сама освободит крестьян, в дальнейшем она извлечет из новых отношений даже материальную выгоду. «Когда

же будущее определило неизбежность перемен между вами и гмином, то горе вам, если бы кто-либо третий, чужого или отечественного происхождения, вторгнулся в это, взял на себя инициативу и устанавливал порядки». Таким образом, вместо того чтобы призывать крестьян к свержению феодального гнета в огне общей борьбы с царизмом, Лелевель старался убедить шляхту, что отказ от барщины в ее собственных интересах. Уже ближайшие дни должны были убедить его в том, насколько запоздалой являлась такая постановка вопроса.

Версальская Централизация назначила начало общепольского восстания на 22 февраля 1846 года. Слишком поздно выяснилось, что страна не была в достаточной мере подготовлена, что конспирация не вела за собой ни имущих классов, ни народных масс. Богатые помещики противодействовали повстанческим выступлениям. Крестьяне, не подготовленные заблаговременно демократической пропагандой, выступили в Галиции на борьбу против шляхты и одновременно против польских повстанцев. Вооруженные выступления произошли лишь в нескольких пунктах страны и угасли спустя считанные часы.

Только в Кракове движение приняло большие масштабы; провозглашенное здесь Национальное правительство объявило об отмене барщины и наделении крестьян землей. Однако австрийские власти использовали крестьянское антишляхетское выступление в Галиции для подавления польского национального движения. Краковское восстание было подавлено, погиб Эдвард Дембовский, демократическая идея потерпела тяжелое поражение, при этом от руки крестьян, которым она хотела принести освобождение.

Польская эмиграция следила за этими событиями в чрезвычайном возбуждении. Первый порыв надежды не угас сразу, долго не хотели верить сообщениям о поражении.

Лелевель писал 10 марта, когда в Польше все уже было кончено: «Страна в огне, не только около Кракова, не удалось около Седлец, письмо из Риги сообщает о движении в Литве, на Жмуди. О боже, когда же ты благословишь свой народ!» Для демократов-эмигрантов казалось важным лишь одно: страна восстала, «Манифест» Национального правительства сформулировал принципы движения. Комитет Объединения уже 7 марта заявил, что подчиняется новой национальной власти и призвал все партии в эмиграции объединиться для общего действия.

Между тем на Запад приходили страшные известия о тарновских событиях. Крестьянство, столько столетий угнетаемое, поднялось против своих панов, разгромило несколько сот

помещичьих усадеб, перебило около тысячи человек. Во всей западной и средней Галиции крестьяне явочным порядком перестали отбывать барщину. Все, что было в Польше связано со шляхтой, смотрело на эти события с ужасом. Консерваторы обвиняли эмиссаров, что это их пропаганда побудила мужиков к резне. Многие считали, что во всем виновато австрийское правительство: это его чиновники выплачивали мужикам награды, по полтора десятков гульденов за голову убитого шляхтича; только таким образом подбили на преступление темный и обманутый народ. Лишь немногие польские демократы отваживались тогда глянуть правде в глаза — признать галицийское движение проявлением классовой борьбы.

В этом споре принял участие и Лелевель, на этот раз не как политический деятель, но как историк. Однако смысл его выступления был недвузначен. 18 марта и 7 апреля 1846 года, то есть в тот момент, когда вся Европа возбужденно обсуждала галицийские события, в «Белом орле» появилась статья Лелевеля «Утрата сословием кметей в Польше своих гражданских прав».

Это был сокращенный, изложенный популярно фрагмент более крупного произведения, того самого, которое позднее было опубликовано под названием «Размышления над историей Польши и ее народа». Статья касалась событий X и XI веков, но ее звучание было в высшей степени актуально.

«Обитатели края, — писал Лелевель, — расположенного между Вислой и Вартой, который является колыбелью Польши, делились на два класса, или на два сословия, отличавшихся друг от друга по своему юридическому положению, — лехитов и кметей… Из этих двух классов класс лехитов был представителем аристократического принципа неравенства, а класс кметей — принципа общинного равенства… На оба сословия распространялось одинаковое гражданское право, с незначительными различиями в зависимости от богатства и вида владения землей. Для обоих сословий существовало единое право. Их судили одни и те же суды по одним и тем же законам». Далее автор описывал, как «злехтичи» — лехиты постепенно подчиняли кметей и закрепощали их. «Простой народ, попавший под ярмо, стал с тех пор называться невольным, рабским… Общественные классы превратились в касты, связь между которыми посредством заключения браков стала невозможной. Простой народ потерял право участвовать в военной службе, нести охрану замков и укрепленных мест… Стало считаться неуместным и оскорбительным для лехитского сословия поручать кметям какие-либо правительственные должности».

Мы уже отмечали, что эта лелевелевская трактовка

начального периода польской истории содержала немалую долю фантазии. Но в ней было правильно одно положение: что зависимость крестьян существовала в Польше не от начала истории, что она появилась с установлением феодальной эпохи, а следовательно — как мог догадаться читатель — исчезнет вместе с упадком феодализма.

В свете рассуждений об утраченных гражданских правах крестьянское движение в Галиции не могло трактоваться как бунт и как грех. Оно было актом справедливой борьбы со стороны обиженных, борьбы за давно утраченные права.

Опубликование статьи именно в этот момент было со стороны Лелевеля определением политической позиции и именно так было повсеместно понято. Поэт Зыгмунт Красиньский, магнат и консерватор, ставил знак равенства между теориями Лелевеля и галицийской «резней». «Отвратительный род профессоров, которые сидят и пишут чернилами, а эти чернила потом за 300 миль от них превращаются в человеческую кровь» — так реагировал он в письме к другу на статью об «Утраченном гражданстве».

Как мы уже знаем, у Лелевеля не было непосредственных связей с конспирацией в стране, поэтому он не отвечал за ход движения и его последствия. Фактом является, однако, что научные теории Лелевеля служили делу демократии среди эмигрантов и в стране и косвенно прокладывали путь польскому антифеодальному движению.

В конце марта 1846 года поражение восстания было уже очевидным для всех. Эмигрантские партии каждая по-своему делали отсюда дальнейшие выводы. Правые атаковали версальскую Централизацию как виновницу несчастья. Централизация ссылалась на краковский манифест: поскольку Национальное правительство признало демократические принципы, вся эмиграция должна подчиниться Демократическому обществу. Руководители Объединения возвращались к своей традиции сближения между собой эмигрантских лагерей. По согласованию с Лелевелем Зверковский возобновил в Париже переговоры на тему «слияния», причем как с Демократическим обществом, так и с партией Чарторыского. Идеологической основой такого союза должен был, разумеется, быть краковский Манифест.

Относительно Централизации Лелевель высказывался осторожно, с оговорками: «Они имеют заслуги, конечно же, имеют, но одновременно их преступные действия в немалой мере способствовали краковскому несчастью: однако и в том их заслуга, что они потрясли Европу и подняли на более высокий

уровень дело Польши». Он надеялся, что «слияние» прекратит разобщение организаций. «Я понимаю необходимость обществ, — писал он, — необходимость, чреватую опасностями, так как общества тяготеют к монополии… Я по-разному трактую общества политические и иные, считая, что хотя это зло, но необходимое, неизбежное». Он советовал, объединить все группировки в одну организацию под названием «Демократическая эмиграция». Сам он отказывался от участия в комитете, не претендовал на место в новом руководстве.

Для переговоров с Демократическим обществом он давал такие установки: «Пусть Централизация слиянием отдаст должное принципам, пусть она наложит демократический отпечаток на Объединение, на массу, на эмиграцию, пусть наложит этот отпечаток на Польшу, на ее дело в эмиграции, пусть покажет миру, что именно это, а не что-то иное есть знамение массы».

Эти замыслы основывались на иллюзиях. При первой вести о взрыве восстания все эмигрантские партии, даже Чарторыского, подчинились новой власти, установленной в Кракове. Зато после поражения идеологические отличия проявились с удвоенной силой. Правое, шляхетское крыло Объединения было напугано крестьянским движением и возмущено против Централизации; оно не хотело объединяться с Демократическим обществом. Эти тенденции взяли верх даже в брюссельской гмине. На бурном собрании 23 апреля прозвучали обвинения в адрес Лелевеля, Ворцеля и других членов комитета. «Революционным способом», то есть пренебрегая формальностями, избрали новый комитет во главе с Винцентием Тышкевичем.

Тышкевич начал переговоры с монархистами и потянул своих сторонников направо. Лелевель протестовал против переворота и получил поддержку большинства гмин во Франции. Однако Объединение было разбито, а это осложняло его руководителям переговоры с Демократическим обществом. Централизация решительно отвергла проект роспуска обеих организаций. Она установила лишь временно льготы для тех, кто пожелает вступить в Демократическое общество. С тяжелым сердцем комитет Объединения принял эти условия и в июле 1846 года рекомендовал своим членам, чтобы они вступали в Демократическое общество. Большинство членов организации последовало этому призыву; из числа ее руководителей при очередных выборах в состав Централизации вошел Ворцель.

В своем последнем воззвании «К соотечественникам на родине» комитет Объединения характерным образом коснулся волнующего общественное мнение крестьянского вопроса.

Деление на касты, заявлял автор воззвания Лелевель, это несчастье Польши, но положение можно поправить. «Что отделяет гмин от шляхты! Между тем их сближает общая родина, общность происхождения, общий язык, вера, обычаи; перед ними открывает перспективу совместной жизни общий земледельческий труд. Сядьте же на одной лавке с гмином, искренне, от всего сердца назовите его братом. Ничто не объединяет так людей, как семейные узы. Пусть не будет кастового деления! Пусть женщины из гмина станут матерями шляхты; пусть ваши дочери и сестры изберут себе мужественную гминную молодежь; пусть священник перед алтарем благословит их супружества и погибнет деление каст. Проявятся способности гмина, а бог благословит Польшу».

Сомнительно, чтобы в то время идея Лелевеля нашла много горячих последователей. Из консервативных кругов на него посыпались громы, что он подстрекает мужиков и хочет выдать им на поругание благородную шляхетскую кровь. Сама идея была для своего времени утопической: шляхту от крестьян отделяли не только сословные предрассудки, но также — и прежде всего — столкновение интересов. Общий «земледельческий труд» не объединял, а противопоставлял жителей усадьбы и деревни. Прошло еще полвека со времени крестьянской реформы, пока первые потомки шляхетских семейств начали жениться на крестьянках. В побуждающих мотивах Лелевеля следует прежде всего отметить стремление к наиболее глубокой демократизации Польши. После ликвидации юридических различий между гражданами должно наступить культурное сближение — необходимое условие укрепления сил нации.

Так в середине 1846 года под давлением политических событий Лелевель оказался, хотя без энтузиазма, в рядах Демократического общества. Лично он не заявил о своем присоединении, делая оговорку: «Я не лезу туда, где меня не хотят». Централизация лишь девять месяцев спустя заявила, что считает Лелевеля членом общества. Он сам, к чему он, по его словам, давно стремился, наконец-то оказался вне комитета. Но, как это нередко бывает, он чувствовал себя еще более не в своей тарелке — отстраненный от всего, бездеятельный, ненужный. Поэтому он с горечью писал Зверковскому, что «раз и навсегда старику дали коленом в зад». Впрочем, он лояльно просил уведомить Централизацию: «Я буду им верно служить, полностью воздерживаясь от атак, даже в беседах буду воздерживаться от выражения своего мнения, чтобы не сказали, что могу им вредить». Он не думал также воевать с группой Тышкевича, которая свергла его в Брюсселе, и вместе с ней участвовал в праздновании 29 ноября. По собственной инициативе он

организовал новое празднество 22 февраля 1847 года, в первую годовщину Краковского восстания. В своей речи он осудил всех тех, кто отрекается от провозглашенного год назад манифеста, то есть главным образом сторонников Чарторыского. Манифест, заявлял он, должен стать символом, который объединит для общей борьбы демократов всей Европы.

Зверковскому в это же время он писал: «Ты пишешь, братец, что мы можем вести более живую переписку, потому что имеем на это больше времени. О нет! Теперь у меня на это меньше, гораздо меньше времени. Когда был комитет, я тратил время, устраивал перерывы в работе и имел больше оказий для переписки. Комитет нанес мне ущерб, может быть не столь большой, как первый (1832 г.), тем не менее значительный. Я должен поправлять дела, и, целиком погруженный в свою работу, я не могу отрываться, иначе я пропаду». Отстраненный от текущей политики, Лелевель возвращался к научным исследованиям, к «Польше средних веков» и «Географии средних веков». Неожиданно для самого ученого большая политика еще раз постучалась в дверь его комнатки.

13
Весна Народов

Краковское восстание 1846 года, несмотря на свое поражение, оказалось событием, значение которого выходило далеко за пределы Польши. Впервые за полтора десятка лет в Европе возобновилась вооруженная борьба против сил Священного союза. Ход событий обнаружил ветхость Австрийской монархии, усилил надежды других угнетенных народов. Польское движение стало как бы предвестием последующих, более мощных потрясений. В Германии и Италии нарастало национальное движение, во Франции созревал острый политический кризис. Крестьянские движения в Восточной Европе, выступления рабочих на Западе начинали создавать угрозу существующему общественному строю. Готовящиеся к выступлению революционные элементы взирали на поляков как на сторонников демократии и врагов абсолютизма. Со времени Краковского восстания никто во всей Европе не сомневался, что поляки будут в первых рядах новой борьбы против Священного союза.

Среди эмигрантов Лелевель принадлежал к тем деятелям, кто был особенно внимателен к международным проблемам. В Национальном комитете 1832 года, а затем как руководитель «Молодой Польши» он всегда заботился о связях с левыми силами других народов. Теперь эти связи становились и более легкими, и более необходимыми, однако Лелевель уже не имел в этой области непосредственного влияния. Поэтому он лишь издалека наблюдал за усиливающимся в Италии политическим движением, за надеждами, которые связывали с новым папой Пием IX, и писал Зверковскому: «Братец! Если бы существовал наш комитет, то мы поразмыслили бы и, может быть, составили воззвание к Пию, к итальянцам, и было бы превосходно. Теперь мы не хозяева сами себе, и мыслей нет, а я вижу, что они нужны, но теперь другая политика».

Заявляя, что он не хозяин сам себе, Лелевель имел в виду свои отношения с Централизацией. Вскоре оказалось, что он не трактует эти отношения как чересчур связывающие его. Возникли обстоятельства, в которых Лелевель предпринял действия по собственному усмотрению, не обращая внимания на руководство общества.

В конце лета 1846 года к нему обратился с письмом Мадзини, в это время усиленно занятый подготовкой к новому республиканскому наступлению в Италии. Мадзини хотел созвать

Европейский конгресс — собрание важнейших представителей прогрессивной мысли всех народов. Конгресс публиковал бы воззвания и манифесты в защиту прав национальностей, свободы и т. д. Лелевель заседал бы в нем как представитель Польши. Идея эта была абсолютно нежизненной и не имела никаких последствий. Прошел год, и Мадзини выступил с новым проектом, на этот раз Международной лиги, или Союза народов, — тайной организации, которая объединяла бы созревающие и разных странах революционные движения. Это было бы новое издание «Молодой Европы»; Мадзини резервировал в ней существенное место для славянских народов. Лелевель был знаком с Мадзини с первых лет эмиграции, шел с ним рука об руку в течение многих лет и никогда открыто с ним не порывал. Однако на этот раз он отнесся к замыслам Мадзини сдержанно, а вскоре принял участие в совершенно ином начинании.

18 ноября 1847 года, сообщая Зверковскому об обычных приготовлениях к празднованию годовщины восстания, он писал: «Немцы создали здесь свое национальное общество. Обсуждалась мысль создания интернационального общества. Немцы были готовы поддержать эту организацию, бельгийцы мешали. И меня пригласили в компанию». Это сообщение ценно. «Немцы», о которых идет речь, это брюссельская ячейка Немецкого рабочего общества, сильно проникнутая влиянием коммунистов. Ее руководителем был Карл Маркс. Все это происходило в канун создания Союза коммунистов и оформления идеологии, которая нашла свое выражение в «Манифесте Коммунистической партии». Представительством коммунистов в международном плане должна была стать, в частности, международная Демократическая ассоциация, основанная в Брюсселе в сентябре 1847 года. Его председателем стал бельгийский радикал Люсьен Леопольд Жотран, а его заместителями француз Жак Энбер, немец Маркс и поляк Лелевель.

Готовясь к приближающейся революции, Маркс стремился объединить вокруг себя родственные элементы из числа революционеров других народов. К этому же стремился и Мадзини. Однако между проектируемыми «интернационалами» Маркса и Мадзини существовало принципиальное различие. Мадзини ставил своей целью освобождение угнетенных народов, прежде всего Италии; в социальной программе он не выходил за рамки буржуазных реформ, протягивая руку и имущим классам; деятельность свою он обрамлял религиозной фразеологией; его девизом было — «Бог и народ». В отличие от него Маркс представлял интересы пролетариата; в центре своих концепций он ставил классовую борьбу; он ставил целью разрушение не

только феодального строя, но и капитализма; наконец, он был последовательным материалистом. Как объяснить, что Лелевель отверг предложение Мадзини и приблизился к Марксу?

Коммунистом он не был, не стал он им и позднее. В отношении польской шляхты до недавнего времени он занимал компромиссную позицию; он менее охотно, чем Мадзини, ссылался на бога, но его трудно было отнести к числу атеистов. Два обстоятельства в этот момент могли повлиять на его выбор: во-первых, рабочий характер движения, которым руководил Маркс; во-вторых, выгоды, какие связь с этим движением могла принести польскому делу.

Было бы абсолютно ошибочным представлять Лелевеля борцом за рабочее дело лишь потому, что он носил блузу рабочего. Лелевель был поляком своего времени, он боролся за то, что в его время составляло важнейший для Польши социальный вопрос, за освобождение крестьян. Однако он жил на западе Европы и прекрасно видел, что в Бельгии, Франции, Рейнской области народ — это уже не крестьянин, а рабочий, ouvrier, поэтому свой демократизм он демонстрировал одеждой рабочего. Будучи так настроен, он радовался политическим контактам с рабочей средой. В отличие от своих соотечественников и бельгийских либералов он постоянно приглашал «увриеров» на польские годовщины. Поэтому его привлекло Немецкое рабочее общество: здесь наконец он имел дело с подлинно народной, а не мелкобуржуазной организацией; эта организация была важнее, чем то, что у Мадзини!

Эти рабочие были коммунистами. Лелевель принял участие в их деятельности; при его поддержке Демократическая ассоциация направила делегата в Лондон для установления связи с тамошней аналогичной организацией Братских демократов. Этим делегатом был Маркс. Как известно, именно Братские демократы поручили Марксу и Энгельсу написание «Коммунистического Манифеста». За связи с коммунистами Лелевеля ждали резкие замечания со стороны Централизации. Лелевель объяснял свое поведение Зверковскому: «Что за люди в этом обществе, я еще хорошо не знаю; знаю многих из них, вижу много увриеров, вижу удручающие личные стычки между ними; что кто из них думает, каких держатся взглядов, не знаю; демократических? наверно, многое выяснит конгресс. Я знаю, что есть люди, известные мне, которые действуют и двигают дело, что это общество полезно и может принести пользу нашему делу, что оно может стать даже исходным пунктом многих предприятий, выступлений и движений… [Высоцкий] утверждает, что эти радикалы — коммунисты. Но только они в Лондоне превосходно выступили в

защиту польского дела!»

Здесь Лелевель выдвигал свой второй аргумент: международное рабочее движение было готово поддержать польский вопрос более решительно, чем это могли сделать либералы или даже демократы, объединенные вокруг Мадзини. Это логически вытекало из тогдашней ситуации: Польша была главным антагонистом Священного союза, поляки — авангардом революции. В этом движении разные лагери ставили себе разные цели: введение конституции в той или иной стране, всеобщее голосование, объединение Италии или Германии. Рабочее движение в своих планах шло дальше: оно стремилось преобразить мир, подымалось над национальными различиями, объявляло борьбу любому гнету. Именно поэтому на него могли рассчитывать поляки. В цитированном выше письме о том, как коммунисты «превосходно выступили в защиту польского дела», Лелевель имел в виду празднование 29 ноября в Лондоне, организованное Братскими демократами. На нем выступали Маркс и Энгельс. Первый развивал мысль, что условием освобождения Польши является всеобщая победа революции. Второй заявлял: «Освобождение Германии не может совершиться без освобождения Польши от угнетения ее немцами. Вот почему Польша и Германия имеют общие интересы».

В тот же день ноябрьское торжество в брюссельской ратуше стало также манифестацией радикального характера. Бельгийские и французские ораторы принимали польский вопрос за исходный пункт для изложения собственных политических требований. В особенности бельгиец Шарль-Луи Спильтхорн, выступавший от имени Демократической ассоциации, решительно подчеркнул связь польского дела с делом демократии и осудил польских реакционеров, как и врагов прогресса в других странах Европы. Выступал и Лелевель, основным мотивом речи которого было чувство надежды, внушаемое пробуждением народов Европы, надежды на помощь, какую может ожидать от них Польша.

В течение трех следующих месяцев Лелевель был исключительно деятелен, организуя все новые публичные выступления по польскому вопросу. Немецкое рабочее общество пригласило его на встречу Нового года. «В девять часов вечера, — рассказывал Лелевель Зверковскому, — я отправился в залу на верху харчевни «Под лебедем» на площади Ратуши. Зала широкая, стол в три ряда поставлен так: m. Я увидел себя в совершенно ином мире, в немецком мире, со своими физиономиями и своими обычаями. Было полтораста, может быть до двухсот человек, из иностранцев — Энбер, француз, Пикар, бельгиец, и я, поляк.

Немок было более двадцати, привлекательные, ни одной не найти, чтобы была безобразна; было и несколько детей. Члены общества, как сидящие за столом, так и обслуживающие, все увриеры, все празднично одетые, деликатные… После прочтения каких-то предписаний общества и краткого обсуждения какого-то вопроса на стол, где стояли хлеб и салат, начали приносить фаро и кое-где вино. Около 10 часов вечера принесли миски с мясом, угощение завершало еще одно мясное блюдо. Во время этого ужина начались тосты». Одним из первых выступал Маркс, вслед за ним Лелевель на тему братства между народами. «Я сказал, что эти слова имеют большое значение, они могут создать союз народов, преодолеть религиозные несогласия, национальную неприязнь, они могут утвердить демократию со всеми ее последствиями. Польша в своем несчастье предлагает братство добрым соседям — немцам». Затем были еще тосты, потом песни, музыка, декламация, в частности, при участии госпожи Маркс. «Я ушел уже пополуночи, рассказывают, что еще долго потом танцевали».

Шесть недель спустя, 14 февраля, в годовщину смерти Конарского, Лелевель организовал «пестелевское» торжество, то есть посвященное памяти декабристов. На эстраде «шесть покрытых трауром стульев» напоминали о пяти русских и одном поляке, погибших в борьбе с царизмом. От имени русских выступал Бакунин, только что высланный из Франции за получившее широкий отзвук выступление на польском ноябрьском торжестве в Париже. Основной идеей речи Бакунина было то, что в России назревает революция, дни царизма сочтены, освобожденная Россия подаст братскую руку полякам.

Лелевель отвечал ему в подобном духе: «Ты сам хорошо знаешь, что взаимопонимание между русскими и поляками наталкивается на препятствия, которые на первый взгляд трудно преодолеть. Наше будущее во многих отношениях темно… оставим это будущее в стороне, не будем беспокоиться о нем… Свергнем прежде всего тирана, который нас гнетет, тиранию, которая нас принижает, поднимем дело народа, пробудим в нем демократический дух, а все образуется и наладится по общей воле всевластия обоих народов».

Еще большее политическое значение приобрело происходившее несколько дней спустя празднование второй годовщины Краковского восстания. Его не хотела организовывать польская колония, руководство которой захватили шляхетские либералы. Поэтому торжество проводилось в обычном месте сбора Демократической ассоциации и под ее покровительством. Поляков пришло немного, но зал был полон ремесленников и

рабочих, говорят, что собралось до тысячи человек. Одним из первых взял слово Маркс, темой речи которого было часто выдвигаемое тогда утверждение, будто бы Краковское восстание 1846 года имело коммунистический характер. Ничего подобного, говорил он. «Коммунизм отрицает необходимость существования классов; он намерен уничтожить всякие классы, всякое классовое различие. А краковские революционеры хотели устранить лишь политические различия между классами; различным классам они хотели дать равные права». Но не будучи коммунистическим, польское движение поступало правильно, когда связывало национальный вопрос с вопросом социальным, когда старалось порвать цепи феодализма, ликвидировать барщину и наделить крестьян землей. Таким образом, — завершал Маркс, — «Польша снова проявила инициативу, но это уже не феодальная, а демократическая Польша, и с этого момента ее освобождение становится делом чести для всех демократов Европы». В этот момент встал Лелевель и среди всеобщих рукоплесканий обнял Карла Маркса.

В свою очередь, выйдя на трибуну, он начал с вопроса особенно для него болезненного. Дело в том, что после недавнего празднования 29 ноября Тышкевич и его группа атаковали Спильтхорна за его выступление против польских реакционеров. «Существование Польши не зависит от той или иной доктрины, модной на Западе», — провозглашал Тышкевич в заявлении для печати. Спор привлек внимание, левая бельгийская печать развивала взгляды Спильтхорна: «Польша для того, чтобы быть свободной и независимой, чтобы быть аванпостом европейской цивилизации, должна стать демократической… Иначе какое дело было бы Европе до Польши? Какая разница для жителей берегов Вислы между царским кнутом и палками своих прежних господ?»

Лелевель должен был от имени демократов дать Спильтхорну публичную сатисфакцию. Он говорил с возмущением и горькой иронией: «Остерегайся, бельгиец, говорить перед ними (поляками), что у тебя есть своя страна, что в ходе человеческих дел есть нечто такое, что нужно исправить и изменить; тебе нужно знать, что дело идет только о независимой Польше; пусть она будет рабской, это неважно, лишь бы она была независимой, и только. Польша не знающая сама себя, Польша без принципов, без совести, лишь бы была признана независимой. Не осуждай мнения противников, уважай их, молчи! Говорят, что человек без принципов, без совести либо глупец, либо подлец; я не хочу такой Польши!»

Сбросив с души эту тяжесть, Лелевель успокоился и перешел к теме сегодняшнего торжества. «Часто бывает, — говорил он, —

что события именуют неточно и неправильно. Так случилось с варшавской революцией и краковским восстанием, которые, по моему мнению, следовало бы назвать как раз наоборот». События 29 ноября назвали революцией, но восстание, которое было ими начато, не: имело революционных черт. «Краковское восстание, наоборот, начинается с акта в высшей степени революционного, с акта социального: оно призывает народ к восстанию, к борьбе за свои права посредством радикальной революции, к коренному изменению социального строя. Поразительное воззвание, не хватало только среди вождей человека из простого народа; а воззвание не было написано достаточно ясным и народным языком, чтобы его мог легко понять простой народ. Неважно, кто был автором воззвания; принципы в нем изложены ясно.

Это первая социальная революция, которая открыто появилась на польском горизонте. С этого времени невозможна иная революция — революция с реакционными идеями… Отныне ни одно восстание в Польше не может обойтись без народа; самым деятельным будет то восстание, которое начнет сам народ, которому он даст стимул и укажет направление».

После Лелевеля выступал Энгельс, который развил шире мысль польского ученого: он сравнил два восстания, ноябрьское и Краковское, первое он назвал «консервативной революцией», а другому приписал «почти пролетарскую смелость». Всего выступало 11 ораторов, среди них сапожный подмастерье Пеллеринг, который на фламандском языке в острой форме характеризовал тяжелое положение трудящихся масс Бельгии. Затем был еще «популярный банкет», на котором пили за здоровье Лелевеля.

Участники торжества ощущали близость всемирных перемен; они не знали, что революция уже началась в Париже. Четыре дня спустя, 26 февраля, Бельгии достигла весть о низвержении монархии Луи-Филиппа. Брюссель встретил ее с энтузиазмом, толпа рабочих собралась перед ратушей, пели «Марсельезу», выкрикивали «Да здравствует республика!». Казалось, что столица Бельгии вот-вот пойдет по стопам французов.

Главным центром бельгийских республиканцев была международная Демократическая ассоциация. Ее правление созвало на следующий день, 27 февраля, совещание. Собрание было многочисленным, толпы народа стояли под окнами, выкрикивая: «Долой Леопольда! Да здравствует республика!» Дискуссия протекала весьма бурно, Маркс и Энгельс, как и француз Энбер, советовали обществу стать во главе движения, бельгийцы во главе с Жотраном отговаривали от радикальных выступлений. Республика, объясняли они, означает конец

независимости Бельгии, она будет поглощена Францией. Под влиянием Маркса было решено обратиться к городскому совету с призывом расширить ряды национальной гвардии, то есть вооружить рабочих и ремесленников. Заседание еще продолжалось, когда на улице появились жандармы, которые начали разгонять толпу обнаженными саблями, избивая и арестовывая сопротивляющихся.

На том же собрании было решено направить адрес с приветствием Временному правительству в Париже. Адрес провозглашал, что Бельгия пойдет по пути Франции, и выражал надежду на близкое возрождение Польши. На этом документе, датированном 28 февраля, рядом с Марксом подписался и Лелевель. Отсюда можно заключить, что он присутствовал и на бурном заседании накануне вечером. Неизвестно, выступал ли он по обсуждаемым вопросам. Но когда на следующий день Спильтхорн выезжал в Париж с адресом общества, Лелевель дал ему рекомендательные письма к двум с давних времен ему знакомым членам Временного правительства — Дюпону де л'Эр и Карно. Одно из этих писем было следующего содержания: «Уважаемый гражданин! Привет Вам от давнего почитателя, привет делу новой славы! Адвокат Спильтхорн, член нашей международной Демократической ассоциации, изложит наши пожелания. Помните о Польше! Примите и т. д.».

Воодушевленный атмосферой момента, Лелевель не сообразил, что он принимает участие в выступлении против существующего в Бельгии строя. Адрес ассоциации одобрял свержение монархии во Франции и выражал надежду, что соседние страны последуют ее примеру. Брюссельская полиция была начеку: выезжающего Спильтхорна обыскали и нашли при нем письма Лелевеля. Последовало распоряжение о немедленной высылке из Бельгии подписавших адрес иностранцев, следовательно, как Лелевеля, так и Маркса. Приказ был уже подписан королем Леопольдом; буквально в последнюю минуту польского ученого уберегло чье-то дружеское вмешательство. На «декрете о высылке» Лелевеля было приписано: «Исполнить в том случае, если бы его дальнейшее поведение того требовало». Маркс в тот же день был отправлен под конвоем на границу Франции.

В этот критический момент Лелевель притих. Он не принадлежал к организаторам движения и не видел смысла в том, чтобы он, старик, отправлялся теперь в изгнание. Отказываясь от участия в этом мероприятии, он чувствовал себя оправданным тем, что раз бельгийцы сами не начинали революцию, то неуместно было гостю навязывать им это решение.

Поэтому он позволил друзьям убедить себя и отступил на нейтральную позицию. 5 марта он писал Зверковскому: «Воскресенье, масленица, шумят, пляшут, уже вечер, заседает митинг международной Демократической ассоциации, шум и гам; не пойду туда, потому что я стар и не одобряю неловкости. Зачем лезть дальше?»

Одновременно он декларировал военному министру, «что ни один поляк не мешается в чужие дела, а я, хотя не мог не подписать, не одобрял этого воззвания». Несколько дней спустя он известил Жотрана о том, что выходит из общества. О бельгийских планах подражания французам он писал в это время с иронией: «Господин побрился, хватает и обезьяна бритву, горло себе перерезать. Впрочем, какая-то драчка, может быть, и будет. Только зачем?»

До «драчки» в Брюсселе в конце концов дело не дошло: местный пролетариат был слишком немногочислен и слабо организован. Правительство сумело успокоить общественное мнение, обещая реформу и взывая к бельгийским патриотическим чувствам. Революционные настроения пошли на убыль. Что же касается польских эмигрантов, то все их внимание обращалось теперь к делам своего народа.

В первых днях марта Лелевель получил письмо Зверковского с призывом срочно приехать в Париж. Централизация установила контакт с Временным правительством; был опубликован декрет о создании во Франции польского легиона; рисуется перспектива войны, публичного выдвижения польского вопроса. «Твое социальное положение, твое значение, твои знакомства, твои способности, твоя чистая любовь к национальному делу могут принести Польше самую действенную и лучшую помощь». Лелевель ответил не сразу и отрицательно. Во-первых, он чувствовал себя больным; во-вторых, был разорен всеобщими потрясениями, из-за которых издатель расторг договор на «Географию средних веков»; он должен теперь зарабатывать на жизнь, а не странствовать по свету. Затем: Централизация совсем в нем не нуждается, в течение двух лет он наблюдает с ее стороны «постоянные проявления подозрений, недоверия, ни одного братского жеста… Может ли им мое присутствие в Париже быть приятным?» И наконец: удержится ли французская республика? «Война? ох, не так уж сразу она начнется!» Так приводил Лелевель аргумент за аргументом для того, чтобы не двинуться с места. Настроение простительное для человека уже на седьмом десятке, привыкшего к жизни среди книг. Однако дело в том, что и 17 лет назад, во времена ноябрьского восстания, Лелевель обнаруживал подобную же беспомощность среди потока

исторических событий. Он бывал вдохновителем революционных движений, бывал их организатором, но не умел стать во главе их, когда этого требовал исторический момент.

В середине марта ему могло представляться, что он руководствовался правильными предчувствиями, отказавшись ехать в Париж. Вслед за взрывом во Франции восстала Вена, за ней Берлин. Полякам нечего было сидеть дольше во Франции. Централизация сама бросила эмигрантам лозунг возвращения на родину. Сразу же двинулась волна эмигрантов: из Парижа и Лондона — через Брюссель — в направлении Берлина. Люди спешили, редко кто задерживался, чтобы побеседовать и попрощаться с Лелевелем. Зверковский «приехал сюда, зашел, не застал меня, погулял по городу и поехал дальше». Лелевель с известным скептицизмом наблюдал за этим массовым переселением; на вопросы иностранцев отвечал, что собирается в Польшу (он взял даже паспорт «в Пруссию, Австрию и Германию»), но не спешил с отъездом. Как вскоре оказалось, он был прав, что не отправился сразу.

Уже 14 апреля Зверковский сообщал ему: «Едва только я прибыл в Познань, как должен был скрываться от ареста и тюрьмы… Сегодня все диктуют пушки и ружья. Мы прячемся и сегодня выезжаем во Вроцлав, а оттуда в Краков… Организуют только четыре эскадрона и четыре батальона, остальных распускают. Эмигрантам не разрешают пребывание, зачем же тебе приезжать. Все пошло вкривь и вкось. Были небольшие столкновения. Письма перехватывают, статьи печатают только против нас… Таково наше критическое положение». Несколько недель спустя познаньское восстание было подавлено превосходящими прусскими силами. Демократические деятели из эмиграции искали теперь базы для своей деятельности в Галиции. Но между тем и Краков подвергся бомбардировке, австрийские власти также высылали из страны эмигрантов. Вопреки ожиданиям революция не подорвала мощи царизма и лишь на время поколебала австрийскую и прусскую монархии. Развеялись надежды на чудесное воскрешение Польши. Более того, революция клонилась к упадку и на Западе. Буржуазия — французская, немецкая и итальянская, — напуганная требованиями народа, переходила на сторону «защитников порядка».

Следя за развитием событий со своего брюссельского наблюдательного пункта, Лелевель не хотел пребывать в бездействии. Двигаться с места не было смысла, однако можно было поднять голос издали, если этот голос что-то значил и мог чем-либо быть полезен польскому делу. В середине апреля

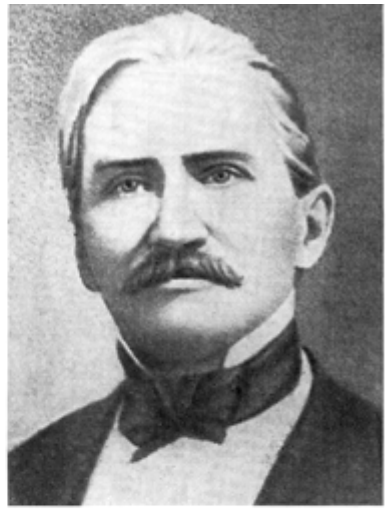
Лелевель опубликовал во французской и немецкой прессе открытое письмо к своему старому знакомому Карлу Валькеру. Этот уже пожилой либеральный политик из Бадена играл теперь большую роль в немецком объединительном движении. Лелевель приветствовал его во имя польско-немецкого братства и просил противодействовать шовинизму тех немцев, которые отказывали полякам в свободах в Познаньском княжестве и на Поморье. Это был не единственный случай, когда Лелевель упоминал о польской принадлежности Гданьского Поморья. Уроженец Варшавы, связанный душевно с Вильной, он хорошо понимал значение западных земель, населенных поляками. Об отвоевании Силезии народом он говорил студентам еще перед 1830 годом. Он не забыл о том, как горячо приветствовали жители Вармии и Мазур участников ноябрьского восстания, когда те складывали оружие на прусской границе. Отправляя в страну эмиссаров «Молодой Польши», он помнил и о Поморье. «Уже 8 лет я старался, но лишь теперь удалось связаться с кашубами», — сообщал он Зверковскому в 1839 году. Теперь, в апреле 1848 года, он писал Ворцелю, оставленному в Париже на страже интересов Демократического общества: «Если бы французская дипломатия затронула польский вопрос, то пусть помнит, пусть упорно стоит на том, что Гданьск и Кашубы (Prusse Occidentale) — это Польша».

Дипломатия Второй французской республики ничего не сделала для Польши. Она стремилась к поддержанию мира в Европе для того, чтобы легче было подавить у себя дома растущее рабочее движение. Фактический руководитель Временного правительства Ламартин публично заявил, что Франция уважает территориальные постановления Венского конгресса. Фактически это означало одобрение разделов Польши. Лелевель собирался «выстрелить в Ламартина письмом» и заклеймить его политику. Однако вскоре и Ламартин был сметен с политической арены ходом событий. Видя, как французское Национальное собрание шарахается перед каждым смелым шагом в заграничной политике, Лелевель выходил из себя, обвинял Ворцеля в «преступном бездействии», «созерцательной сонливости», требовал от него энергичных действий. На расстоянии он не ориентировался в безнадежности ситуации. Буржуазные политики, находившиеся у власти в Париже, и слышать не хотели о Польше, а те руководители левых сил, которые поднимали голос в защиту Польши, уже в мае и июне 1848 года оказались либо в тюрьме, либо в изгнании.

Спад дружественных Польше настроений еще сильнее выявился в Германии. В мае 1848 года Лелевель написал памятную записку, адресованную всегерманскому

Национальному собранию, и направил с нею во Франкфурт своего друга Людвика Люблинера. Записка выражала протест против прусских насилий в Познаньском княжестве и против включения в состав Германии древней столицы Польши. Эта записка была прочитана в собрании и, как отмечал сам Лелевель, «пришлась не по вкусу озлобленной и взбешенной немчуре». Либеральное большинство собрания санкционировало включение в состав Германской империи двух третей Великой Польши вместе с городом Познань. Лелевель в это же время сообщал Зверковскому: «Люблинер не без пользы провел время во Франкфурте, он организовал превосходную петицию парламенту, подписанную тысячей увриеров». Вместе с Люблинером Лелевель обратился также с письмом к Марксу, прося его публично выступить в защиту Польши. Это обращение не осталось безрезультатно. В революционном 1848 году только коммунистические руководители рабочего класса последовательно защищали точку зрения, что возрождение Польши является необходимым условием освобождения и объединения Германии. В этом духе была написана известная серия статей Маркса и Энгельса, опубликованная в «Новой Рейнской газете».

Станислав Ворцель. Литогр. Сосновского.



Ян Непомуцен Яновский. Фото.

Валентый Зверковский. Фото.

Людвик Люблинер. Фото.

Однако рабочему классу не было суждено одержать победу в эпоху Весны Народов. В Париже, Вене, Берлине, Дрездене, Вроцлаве его принудили к молчанию картечными залпами. Всюду брала верх контрреволюция, с ее торжеством гасли разбуженные польские надежды. В самой Бельгии мерилом смены настроений была судьба ноябрьского праздника. В предшествующие годы

каждое 29 ноября было в Брюсселе политическим событием. Теперь, осенью 1848 года, лишь несколько знакомых спросило Лелевеля, состоится ли вообще это торжество. «Находящаяся в разброде наша польская колония и не думала о праздновании годовщины, — писал Лелевель, — и никакого празднования не будет… Царит удивительное безразличие, более того — отвращение, отталкивание. Чем мы виноваты перед Бельгией?» Другу давних лет, Яну Непомуцену Яновскому, он писал в ответ на новогоднее поздравление: «Что касается меня, то я не теряю надежды, но не вижу такой быстрой перспективы, как ты сулишь, а ведь я стар! Дождусь ли?»

В последующие годы Лелевель вновь обратился к научной работе, к «Географии средних веков» и исследованиям по истории Польши. Но это, как мы увидим далее, не означало, что он стал совершенно безразличен к текущим политическим событиям.

14
Последние годы

На новый, 1852 год Лелевель рассылал друзьям грустные стихи. Они соответствовали его тогдашнему невеселому настроению. Политический горизонт был затянут тучами, условий для деятельности на пользу польского дела не было. Ухудшались и условия научной работы. У Лелевеля постепенно слабело зрение, и работа над документами требовала от него все больших усилий. После окончания «Географии средних веков» ученый еще переделывал и готовил к печати свои старые работы, но уже не предпринял нового большого труда. Его мучили хронические недомогания: грыжа, геморрой, развивалась серьезная болезнь почек. «Пора уж закрыть глаза, а жизнь все тянется», — писал Лелевель друзьям.

Такое настроение усиливало у старика его давнюю раздражительность и обидчивость. Каждая неожиданная неприятность, каждая внезапная перемена в привычном укладе жизни выбивали его из колеи. Он тяжело пережил в 1851 году необходимость смены квартиры. В связи с ликвидацией наследства вдовы ван Расбург необходимо было покинуть «Варшавскую харчевню». Неподалеку на улице Марэ-Сен-Жан (что Лелевель переводил как «кал святого Яна») в доме 18 у парикмахера по фамилии Орбан нашлись две комнатки на втором этаже. Улица была узкая и шумная, лестница «тесная и крутая», зато наверху «апартамент с плафоном, на котором изображена не то голубица, не то святой дух». «Каждый хвалит, а мне не нравится», — писал Лелевель о новой квартире.

Во второй, меньшей комнате находилась кровать, «более широкая в расчете на женитьбу», как острил Лелевель, а также «низкий комод взамен письменного стола»; а в первой от входа комнате поломанные столы, полки с книжками и навал книг на полу по всем углам. Книгами весьма живо интересовались мыши. Добродушный Лелевель был сторонником теории, что мыши грызут бумагу только тогда, когда им хочется пить; поэтому он расставлял на полу мисочки с водой для мышей. Теория эта не всегда оправдывалась, и ученый впадал в отчаяние, когда обнаруживал, что какой-либо ценный труд едва не до корок изгрызен мышами.

Образ жизни Лелевеля остался неизменным. Он имел скромный доход, обеспеченный авансами Жупаньского и распродажей тиражей более ранних изданий. Друзья время от

времени покупали у его книготорговца один или два экземпляра «Географии» или «Нумизматики» — не слишком много сразу, чтобы не возбуждать подозрений автора, что речь идет о замаскированном пособии. Лелевель, как и раньше, вел жизнь аскета и даже реже теперь ходил в кофейную, не желая утруждать зрение чтением газет. Он поддерживал дружеские отношения с семьей своих хозяев, любил побаловать их младшую дочку, которая была его крестницей. Среди поляков он имел несколько более близких друзей, таких, как Людвик Люблинер и Лев Савашкевич, с которыми охотно болтал, не позволяя им, однако, помогать себе. И все же ему было все труднее заботиться о себе, убирать комнату, готовить пищу. И эти вопросы как-то уладились. В Брюсселе жила Марианна Борысович, в прошлом, еще в наполеоновские времена, маркитантка, бывшая замужем за французом Дюпанем. Старая женщина, зарабатывавшая на жизнь поденщиной, привыкла приходить к Лелевелю: она прибирала, разогревала пищу, стирала белье, латала одежду. Привык к ней и Лелевель, он давал ей поручения в городе; он ничего ей не платил, она сама брала, сколько ей было нужно, из денег, лежавших в комоде. Это был своеобразный, неписаный договор между двумя существами, поддерживавшими друг друга, не признавая этого открыто.

К Лелевелю входили без стука, и в его комнате бывало много гостей. Особенно летом, когда приближался купальный сезон в Остенде, через Брюссель проезжали многочисленные польские туристы, и многие из них заходили навестить Лелевеля. Старик был рад этим визитам, справлялся о проезжих земляках и отмечал в своей памяти как тех, что посещали его, так и тех, что не появились. «В 1850 году из всей массы проезжающих я видел у себя только четырех наших. В 1851 году гораздо больше, может быть до сотни, из них половина дети и женщины, кузины и не кузины». С каждого такого гостя он брал обещание вновь зайти на обратном пути в Польшу, но мало кто приходил второй раз. В 1850 году Лелевеля посетил принц Наполеон Бонапарт, племянник императора Наполеона I. Он застал в комнате Лелевеля старуху Суброву, простую деревенскую женщину, которой Лелевель время от времени помогал ссудой. Ученый посадил обоих гостей рядом и развлекался этой царящей у него демократией. «Стулья для всех одинаковы» — так описывал он эту сцену. Случались и менее приятные гости; один из них «схватил со стола и унес» часы Лелевеля, служившие ему пятьдесят лет. На этот раз ученый сделал необычайное исключение, приняв в дар от старой бельгийской знакомой госпожи Дрюар-Дуайен новые дешевенькие часы. Однако, когда

эта богатая дама оставила ему в своем завещании 600 франков пожизненной ренты, Лелевель отказался принять дар и потребовал, чтобы его вернули семье умершей или передали на филантропические цели.

В 1851 году польское Литературное общество в Париже обратилось к Лелевелю, предложив ему принять звание члена-корреспондента общества. Организация эта была связана с лагерем Чарторыского. Учитывая, однако, что вице-председателем общества был Мицкевич, что речь шла о научных вопросах, наконец, что старые споры уже уходили в прошлое, Лелевель согласился принять эту честь. Впрочем, он предупреждал: «Когда возраст склоняет к земле и человек дряхлеет, трудно сказать, могу ли я еще быть чем-либо полезен». Однако, несмотря на слабость и дряхлость, Лелевель умел бурно реагировать. Какое-то время спустя он получил из общества письмо с титулом «ясновельможный» на конверте. Он разгневался и написал члену правления Янушкевичу: «У нас бывали литературные общества, но ни одно из них не знало таких титулов. Стоит вспомнить варшавское Общество друзей наук. Если бы кто-нибудь в нем употребил титул «вельможный», я плюнул бы ему в глаза. Председательствовал там сын мельника, хотя он был ясновельможным, коллега Сташиц, коллега и не более. Коллега генерал, князь, епископ, ксендз, коллега и не более, коллега каштелян. Не было ни светлейших, ни вельможных ни в разговоре, ни на письме. Прошу это учесть, чтобы не было скандала, потому что, хотя пословица гласит, что коли окажешься среди ворон, то будешь каркать, как они, я, однако, остаюсь упрямым и горячим мазуром и если еще хоть раз ко мне будет послано что-нибудь адресованное ясновельможному пану, то я возвращу письмо как посланное ко мне по ошибке».

Два года спустя Лелевель узнал о конфликте между руководством общества и его библиотекарем — писателем Каролем Сенкевичем. Речь шла о покупке дома для Польской библиотеки в Париже. Дом должен был купить на свое имя генерал Владислав Замойский, истратив на это также средства, собранные в обществе. Генерал должен был получить в доме квартиру для себя. Со временем общество должно было стать владельцем всего дома. Эта операция вызвала нарекания, тем более что Замойский, племянник Чарторыского и фактический руководитель польских монархистов, принадлежал к числу людей, исключительно непопулярных в эмиграции. Протестовал, в частности, Сенкевич. Лелевель поддерживал с ним близкий контакт и высказался в его поддержку. Во всяком случае, в конце 1853 года Лелевель написал в общество вежливо, кратко и не

вдаваясь в объяснения, чтобы его вычеркнули из числа членов общества.

Политическая активность Лелевеля ограничивалась в эти годы заботой о проведении ноябрьского торжества. Уже не проводилось, как раньше, шумных заседаний с речами; была только складчина на торжественную панихиду, на которую приглашали бельгийских друзей. У Лелевеля бывали трудности с объявлением о панихиде в газетах: «Одни, безбожники, не хотели об этом писать потому, что это церковная служба, другие, католики, потому, что это революционная панихида». Перед 1848 годом, во время подъема революционной волны, с польским делом считались все политические лагери; теперь почти все от него отворачивались.

Во Франции Луи-Наполеон Бонапарт, избранный президентом республики, совершил государственный переворот и объявил себя императором Наполеоном III. В Польском демократическом обществе в связи с этим произошел раскол. Меньшинство под влиянием Людвика Мерославского тяготело к новому режиму, теша себя надеждой, что с его помощью удастся сделать что-либо для Польши. Большинство осталось верно республиканским принципам. Централизация еще в 1849 году переселилась в Лондон, где эмигранты разных национальностей образовали под руководством Мадзини Центральный комитет европейской демократии.

Лелевель полностью разделял политическое отношение левых сил к Наполеону III; он говорил о нем с иронией и неприязнью. Когда один из друзей предлагал ему приехать во Францию, он довольно резко ответил: «Смешная мысль приглашать меня в Париж, который в моем представлении покрыт позором». Этим позором был режим Второй империи. Лелевель отмечал далее, что «Централизация продолжает по крайней мере какое-то национальное представительство, получающее резонанс среди иностранцев… Все же сейчас лишь они одни ворчат и пишут, пробуждают, дают щелчки, и хотя они оказались в необычайно стесненных обстоятельствах, хотя со всеми на ножах, однако нашли все же материальные средства». Лелевель, впрочем, был настроен скептически в отношении политической деятельности Централизации и не поддерживал с нею близких контактов. Он отвергал также предложение выдвинуть свою кандидатуру в Централизацию; он не хотел переезжать в Лондон, а если общество до того ослабело, что нуждается в его помощи, то, заявлял он, его сил не хватит на столь великое дело.

В 1853 году на Ближнем Востоке разгорелся международный кризис, который вновь пробудил польские надежды. Россия

объявила войну Турции; Франция и Англия выступили на стороне султана. Крымская война (1854–1856) должна была решить вопрос о политической и экономической гегемонии в районе Черного моря; ни одна из сторон не ставила своей целью освобождение народов. Англо-французская дипломатия использовала в своих комбинациях польский вопрос как орудие давления на противника и на нейтральные государства. В действительности же польский народ не мог ждать от этой дипломатии ровным счетом ничего. При всей том начало войны между Францией и Россией взбудоражило все эмигрантские лагери. Дискутировалась возможность и целесообразность восстания, с разных сторон предпринимались старания организовать в Турции польский легион.

Лелевель стоял в стороне от активной политики, а судя по его тогдашним высказываниям, не придавал этим действиям большого значения. В конце 1853 года он отмечал: «Ворцель ожидает чего-то великого от войны и желает, уж не знаю, путем какого голосования, втянуть в Централизацию Хельтмана. А тот вовсе этого не хочет, хочет отдохнуть и вполне прав». Полгода спустя он добавлял: «Мы не хотим, мы не можем думать о Польше, наши союзники задушат польское восстание, если оно вспыхнет, но если они хотят иметь легион, чтобы он нам служил, то почему бы и нет!»

Крымская война не привела к прямой постановке польского вопроса, однако она существенным образом повлияла на его дальнейшее развитие. Военное поражение России поколебало господствующий в ней деспотический строй, ускорило необходимые, созревающие реформы, открыло новые перспективы для революционного движения и в России и в Польше.

Война была еще в разгаре, когда Лелевель в своей келье увидел как бы первого предвестника приближающихся новых времен. К нему обратился из Лондона Александр Герцен, русский эмигрант и знаменитый писатель, сообщивший о своих планах развертывания за границей вольной русской прессы. Герцен ссылался на традицию декабристов и старой польско-русской революционной дружбы. Мы знаем, как дорога была эта идея Лелевелю. Он вспомнил свои старые воззвания к русским и собрание в честь декабристов с участием Бакунина. Он ответил Герцену ясным изложением своих политических убеждений. «Запад, каков он теперь, и не думает о восстановлении Польши, он даже враждебен этому… Польша не может подняться, опираясь только на свои собственные силы, на свой национальный принцип. Только революции могут послужить удобным для этого моментом. Тогда вам, русские братья, надлежит соединиться с

нами в общем деле, равно как и нам надлежит восстать, когда вы развернете знамя свободы». Этими словами Лелевель заявлял о своей моральной поддержке начатого Герценом дела пробуждения в России революционного духа. Издаваемый Герценом «Колокол» горячо и искренне выступил в защиту польского дела.

Иоахим Лелевель. Рис. Ю. Коссака 1855 г.

Следующим симптомом приближающихся перемен была, уже после окончания войны, амнистия, объявленная новым царем, Александром II. Большинство эмиграции отказалось воспользоваться этой милостью, оно не желало признать

господство захватчика и этой ценой открыть себе путь к возвращению на родину. Такова была позиция и Лелевеля. Когда к нему обратились за советом, как сформулировать протест против амнистии, он ответил, что преступление совершили не поляки, а царь: «Он должен искать и добиваться амнистии… А мы в нашем положении отвергаем примирение». Два года спустя к нему обратился поэт Винцентий Поль с вопросом, не согласился ли бы он начать хлопоты о разрешении приехать в Галицию. Лелевель отказался и на этот раз. «Жить между своими, провести на родной земле, среди благожелательных семейств соотечественников остаток своих дней, есть несомненно одно из самых моих горячих желаний. Но, пройдя разные пути, я не могу думать об изменении моего положения, я должен считаться с тем, чтобы когда-нибудь не сказали: ради своего интереса, ради удовлетворения своего сердца он поступил вопреки себе, отрекся от себя».

Однако на родину возвращались разные люди, среди них уезжал в Краков генерал Ян Скшинецкий. Этот бывший главнокомандующий ноябрьского восстания служил позднее в бельгийской армии и жил в Брюсселе, недалеко от Лелевеля. В течение почти 20 лет они никогда не встречались: Лелевель считал Скшинецкого одним из виновников гибели восстания, Скшинецкий, консерватор и католик, не хотел иметь ничего общего с польским революционером. Подчеркнуто избегая контактов, они, однако, оба внимательно наблюдали друг за другом. Лелевель в своих письмах вел постоянную хронику действий Скшинецкого, а этот последний, наверное, был не хуже информирован о делах Лелевеля. Кроме того, вошло в обычай, что назойливых соотечественников, выпрашивающих помощь, Скшинецкий посылал к Лелевелю, а Лелевель — к Скшинецкому.

Теперь, когда Скшинецкий готовился к отъезду, он дал знать через третьих лиц Лелевелю, что «хочет по-братски расстаться, а поэтому приглашает меня в компанию на генеральский обед». Ученый возмутился и ответил: «Пусть знает, что я старше и по возрасту и по пребыванию в Брюсселе, на чужие обеды не хожу, из Брюсселя не уезжаю и с Брюсселем не прощаюсь». Вскоре, однако, он узнал, что Скшинецкий будет продавать с аукциона свою библиотеку. Это его заинтересовало, поскольку он имел слабость к старым книгам и немало денег оставлял у букинистов. Он отправился в зал аукциона и сам подошел к генералу. Несколько минут они церемонно беседовали: «Посчитали мы свои годочки, я пожелал удачного замужества дочкам». Затем Скшинецкий, уже накануне отъезда, посетил Лелевеля. «Мы побеседовали, не касаясь никаких трудных вопросов, хотя беседа касалась

общественных дел и даже давних дел, и попрощались навсегда». Около трех лет спустя в Брюссель пришло известие о смерти Скшинецкого в Кракове. Лелевель занялся оповещением соотечественников о панихиде и в костеле с меланхолией отметил, что на панихиду явился мало кто из тех, кто на протяжении многих лет посещал генеральские обеды.

Годы после Крымской войны имели уже иной характер, чем начало 50-х годов. Лелевель чувствовал себя все более больным, одиноким, дряхлеющим. Вместе с тем он чувствовал, что что-то новое происходит в мире и в Польше. Освобождалась и объединялась Италия; в России приступали к отмене крепостного права; в Королевстве Польском возобновлялась общественная жизнь: открывались высшие учебные заведения, возникло Земледельческое общество. Изменился и тип посещающих Лелевеля гостей: он реже видел теперь туристов-помещиков в клетчатых брюках в обтяжку и дам в кринолинах. Но теперь к нему являлись молодые воспитанники русских университетов, юноши с горящими глазами и нервной жестикуляцией, которые, глядя на Лелевеля как на икону, рассказывали ему о том, что страна пробуждается. В 1860 году прибыл некто более старший и более значительный, чем они, Зыгмунт Сераковский. В прошлом ссыльный, офицер Генерального штаба царской армии, Сераковский стал одним из первых инициаторов польских конспиративных действий и был связующим звеном польского и русского революционного движения. Он ехал на Запад в служебную командировку по поручению царского военного министерства, посетил Лелевеля он не только из любопытства. Как он сам рассказывал потом одному из друзей, увидев старца бедняка в блузе рабочего, он «бросился на колени, залился слезами и долго не мог вымолвить ни слова». Несомненно, эта встреча напомнила старому ученому беседу с Дембовским пятнадцатью годами ранее. Тогда столь же горячий, но еще более молодой революционер прибыл поклониться Лелевелю, прежде чем броситься в пучину борьбы и погибнуть. Теперь на борьбу подымалось следующее поколение.

В одном из писем Лелевеля 1859 года мы встречаем загадочное сообщение о встрече иного рода: «Мы наткнулись на улице на мужика из-под Новгорода Великого». Что это был за крестьянин из глубины России? Откуда он взялся в Брюсселе и как его узнал Лелевель? Фактом является лишь то, что он привел его к себе и беседовал с ним полтора часа, в частности о крестьянском вопросе. «Мужик» сказал, что теперь земля в России будет принадлежать общине, что она купит также помещичьи земли и будет раздавать их в пользование. Лелевель спросил его,

«слышали ли они о демократии». Крестьянин отвечал: «Не знаю».

Крестьянский вопрос, о котором Лелевель расспрашивал русского «мужика», стал действительно в порядок дня. Царское правительство шло на уступки под нажимом экономической необходимости и страшась социального переворота. В 1857 году оно призвало землевладельцев к обсуждению вопроса о способе освобождения крестьян от крепостной зависимости. К совещаниям этим были призваны и польские помещики Литвы, Белоруссии и Украины. Начались дискуссии о том, на каких условиях предоставить крестьянам землю в собственность.

Лелевель понимал, что от решения крестьянского вопроса зависит будущее нации. Царское правительство могло представить себя крестьянам в качестве благодетеля, чтобы завоевать их на свою сторону, но польские патриоты могли широким жестом завоевать крестьянство для национального дела. Именно этого хотел добиться Лелевель, еще раз обращаясь с воззванием к шляхте: «Не говори об освобождении, ибо человек не принадлежал и не принадлежит тебе и ты его не освобождаешь. Не говори о наделении, ибо ты ничего не даешь, поскольку он владеет. Своди с ним честно счеты и ликвидируй тягостные узы, связывающие его владение с твоим».

Как организовать хозяйственные отношения между деревней и усадьбой, относительно этого Лелевель и сейчас не имел четкого представления. «Несомненно, — писал он, — должен быть принят принцип полной, чистой собственности». Помещики, очевидно, не откажутся от барщины без возмещения. Но пусть они идут в отношении крестьян на возможно большие уступки, пусть в особенности не навязывают крестьянству своей воли в отношении способа выкупа им повинностей. Подчиняя все своему идеалу гминовладства, Лелевель рекомендовал передавать выкупленную землю в руки общины. «Гмина будет распоряжаться землей, администрировать, наблюдать за своим населением, сама собирать от своего населения подати и налоги, отвечать солидарно за каждого, за себя… Лишь в гминной организации я вижу ответственность простого народа, удовлетворение его желаний, удовлетворение требованиям человечности и народности, поддержание гармонии, братства, воспитание из крестьян граждан». Когда ему доказывали, что частная собственность «побуждает к совершенствованию», он возражал, что ничего подобного. «70 лет уже во Франции утвердилась мелкая собственность, а никаких улучшений от этого не происходит. Я бывал в крестьянских жилищах около Тура, в Нормандии, — тьфу! Отправься, братец, в центр Франции в департамент Крёз — ужас! Ты увидишь, как в грязных хоромах

греются у очага рядом хозяин и свинья. Да и у нас было много мелких собственников, мелкой шляхты, какое же отсюда совершенствование?» Правда, что бельгийская деревня зажиточна, но это благодаря политическим свободам, развитию промышленности и торговли, а не частной собственности.

Мечты Лелевеля о введении общинной собственности не имели в тогдашней Польше шансов на осуществление. Впрочем, часть шляхты думала о том, чтобы оставить крестьянина в зависимости от гмины, лишь бы эта гмина и впредь оставалась под помещичьим патронатом. О такой гмине крестьяне и слышать не хотели. Законы экономического развития предопределяли развитие отношений в польской деревне в направлении капиталистической собственности. Крестьяне стремились вырвать из рук помещиков как можно больше земли, шляхта с трудом соглашалась признать переход к крестьянам части земель — лишь бы дать им как можно меньше и за дорогую плату. «Слепая бессовестная шляхта тормозит национальное дело, а себя губит», — писал возмущенный Лелевель. В другом письме он обращал внимание на то, что в результате реформы в польских землях под властью Пруссии и в Галиции «крестьянин остался на своей полуволоке. Помните это». Эти присылаемые издалека призывы одинокого старца остались без отклика.

Последние годы жизни Лелевель оставался верен своим давним мечтам о слиянии шляхты с простым народом. В начале 1860 года он получил письмо из Познаньского княжества от незнакомого ему Станислава Рожаньского. В Великой Польше возникло намерение отметить тысячелетие легендарных пострижин (языческий обряд первой стрижки юноши в знак достижения им совершеннолетия) Земовита, то есть принятие власти династией Пястов. Рожаньский обращался к Лелевелю за советом и указаниями. Старик обрадовался и воодушевился. Дата — 860 год как начало правления Пястов, возможно, была не точна, но традиции следовало верить. Два ангела, посетившие дом Пяста, были, вероятно, посланцами святого Мефодия, апостола славянского обряда, который был ближе сердцу Лелевеля, чем более поздний латинский обряд. Ученый тут же написал обширные наставления, как организовать в Крушвице «богобоязненное, земледельческое, сельское торжество». На него съедутся «в пору сбора меда» приглашенные со всей страны поляки всех сословий и исповеданий. Вся масса соберется над озером Гопло «под открытым небом или в шатрах». В честь Пястов споют какой-либо гимн, выпьют чарку меда (а если его не будет, то «национальный напиток» — пиво), поставят скромный памятник, может быть в форме улья, положат книгу для

складывания подписей. Оттуда процессией народ отправится в Гнезно, где в кафедральном соборе сам примас отслужит службу, лучше всего в честь св. Мефодия. «Я предвижу, — заканчивал Лелевель, — что паникеры, люди малого сердца, будут напуганы и поднимут крик против приглашения принять участие в общем торжестве сельского народа, кметей, мужиков. Скажут: в момент наделения, освобождения объяснять народу, что род Пястов — это кметей род, означает подстрекать в народе претензии к господству, руководству. Это пустые страхи… Я желаю гражданам при торжестве этого рода искреннего братания с народом».

Письмо Лелевеля опубликовала «Познаньская газета», однако его замысел не был осуществлен. Был запланирован, правда, съезд в Крушвице и церковная служба, но в последний момент прусские власти оказали нажим на архиепископа Пшилуского, который запретил ксендзам участвовать в торжестве. В Крушвицу съехалось около 200 человек, но дезориентированные организаторы отказались от каких-либо манифестаций. «Наше дело не вызывает сочувствия у князей церкви, — отмечал тогда Лелевель. — Грустно об этом говорить!»

Еще ранее Лелевель выступил по иному общественному вопросу, также живо его занимавшему. В 1859 году консервативная «Варшавская газета» предприняла грубый по тону выпад против местной еврейской буржуазии. Началась острая полемика; полиция взяла под защиту журналистов-антисемитов, цензура запретила дальнейшие выступления по этому вопросу. Дискуссия перебросилась на страницы зарубежной и эмигрантской прессы. В ней принял участие и Лелевель, публикуя брошюру «Еврейский вопрос в 1859 году». Он подвергал в ней критике оба спорящих лагеря; в качестве цели он намечал полную ассимиляцию всех польских евреев; он отмечал, что для этого необходима добрая воля как евреев, так и христианского населения. Он заканчивал брошюру убеждением, что «сила века, свет века преодолеют страсти и предрассудки».

В 1860 году Лелевель неожиданно получил письмо от Карла Маркса из Лондона. Он не поддерживал контактов с великим вождем рабочего движения со времен революции, хотя еще в 1849 году он послал ему предостережение относительно одного активного в польской среде шпиона. В позднейшие годы реакции Маркс высказывался в адрес Лелевеля скорее критически, хотя положительно оценивал его труды и обращался к ним, когда писал об истории Польши. Его письмо к Лелевелю было связано с клеветнической кампанией, развернутой против него Карлом Фогтом. Речь шла, в частности, о давней деятельности Маркса в Брюсселе. Маркс просил Лелевеля прислать ему частное письмо,

подтверждающее его дружеское отношение и упоминающее об их старых брюссельских контактах. Лелевель немедля ответил кратким письмом, в котором заверял Маркса в том, что «мои чувства и мои взгляды остались теми же». Свое письмо он закончил словами: «Привет и братство» — так подписывались тогда революционеры старшего поколения.

Иоахим Лелевель. 1859 г.
Л. Страшиньский, масло.

Иоахим Лелевель.
Рис. пером Ц. Норвида.

«Пан Иоахим из Брюсселя» — карикатура Ц. Норвида.

Лелевелю шел 75-й год, и он ощущал, что дни его сочтены. Силы покидали его; за ослаблением зрения следовало ослабление слуха; усиливалась опасная болезнь мочевого пузыря, неприятная и мучительная. Лелевель, как обычно, и слышать не хотел о врачах и о лечении. Упорно защищаясь от любой перемены своего образа жизни, он, однако, постепенно и методично принялся приводить в окончательный порядок свои дела. Договор с Жупаньским на издание сочинений «Польша, ее история и проблемы» был уже подписан; в первый том издания автор включил теперь свои воспоминания, написанные в 1857 году. Они называются «Приключения в поисках и исследованиях польских национальных проблем» и посвящены исключительно научной деятельности автора. Кратко, на ста страницах, Лелевель описал «приключения» своей трудной карьеры. Он скромно писал о своих достижениях, с легкой иронией — о неудачах. «В течение уже пятидесяти или шестидесяти лет я пачкаю бумагу, рассматривая: хронологию, генеалогию, географию, политику, законодательство, административный строй, историю вообще и в особенности Литвы и Руси, историю культуры и литературы, библиотек, книгопечатания, историков и географов, язычества, памятники, монеты, захоронения, памятники зодчества, гербы, печати, дипломы, древнее письмо, одежду, обычаи и памятники. То, что из всего этого время от времени поступало в печать, мало кто читал, мало кому было известно. Я выполнил свой труд заурядно, без блеска… Многое еще можно было бы рассказать обо всем этом, однако кто-нибудь скажет: занят собою, слишком разболтался или — старики любят болтать, поэтому я умолкаю».

Своей книжке он предпослал цитату из «Энеиды»: «Это последний труд, конец долгого пути».

Лелевель уже давно беспокоился о судьбе своего «хлама» — книжек, гравюр, атласов, записок и всей переписки. Накапливающиеся в течение многих лет бумаги политического характера он передавал партиями на хранение Леонарду Ходзьке, который был в эмиграции главным собирателем национального архива. Свою картографическую коллекцию Лелевель продал Польской школе, основанной в предместье Парижа Батиньоль; он поставил только условие, что эта коллекция должна будет когда-нибудь перейти в собственность Виленского университета. Эту уникальную коллекцию редких атласов и карт специалисты оценили в 8 тысяч франков, но Лелевель согласился принять только 2 тысячи. Эта выплачиваемая в рассрочку сумма облегчала ему сведение концов с концами в последние годы жизни. В 1858 году Лелевель с тяжелым сердцем отправил всю эту коллекцию в

Париж. Позднее он горько жаловался, когда узнал два года спустя, что его сокровища лежат еще в ящиках, поскольку нет ни места, чтобы их расставить, ни библиотекаря, чтобы привести их в порядок. Несмотря на это, он начал готовить очередной транспорт, на этот раз состоящий из книг, которые он также хотел передать в Батиньоль. Это составление каталога собственной библиотеки было его последним научным занятием. «Дело идет медленно, — писал он доктору Галензовскому, — из-за слабости моего зрения, а также из-за тесноты». Значительные еще остатки тиражей своих работ он поручал продавать в пользу своих родных, живущих в Польше.

В течение зимы 1860/61 года он чувствовал себя уже очень плохо, так что «внимательная дама Дашкевичова» (бельгийка, жена польского эмигранта) уговорила его в конце концов показаться врачу. Тогда «без моего согласия, насильно, — писал Лелевель, — в моей комнате поставили печь». Старик возмущался этим излишеством, наблюдал, чтобы Марианна не переплачивала за уголь и растопку. «Я постоянно слышу похвальные слова по поводу этой печки, а между тем, когда ее топят у меня в другой комнате, от чада голова идет кругом».

Под конец зимы голова пошла у него кругом совсем по иной причине: восстала столица Польши! Народ вышел на улицы с патриотическими песнями, не испугался ни штыков пехоты, ни казацких нагаек. 27 февраля 1861 года на Краковском Предместье пало пять первых жертв. Их похороны стали мощной манифестацией, в которой объединились представители всех классов нации. Царское правительство, как казалось, отступало под нажимом общества: оно воздержалось от репрессий, обещало осуществление реформ. Читая в газетах описание этих событий, Лелевель радовался как ребенок тому, что полицмейстер Тренов «получил в Варшаве по морде от хвата-подмастерья, а от бабы по лбу лопатой». А с другой стороны, он беспокоился: «Прежде чем что-нибудь наступит, будет много несчастий и кровопролития».

Имя Польши вновь звучало громко по всей Европе; Брюссель также вспомнил о самом славном из живущих в его стенах поляков. 18 апреля к дому Лелевеля подошло шествие в несколько тысяч человек, главным образом студентов. Ученому был вручен адрес с выражениями симпатии Польше, в честь Лелевеля кричали «ура», оркестр играл бельгийский гимн. Непривычный к подобным овациям старик подошел к окну, но слезы лишили его возможности говорить. На следующий день он послал в газеты короткую благодарность своим друзьям в Бельгии.

С польской эмиграцией он попрощался раньше, при

последнем праздновании 29 ноября. Это была уже тридцатая годовщина восстания, ее вновь отмечали торжественно, хотя не в Брюсселе, а в расположенном недалеко городе Льеже. На этом торжестве с всеобщим вниманием были приняты несколько слов, присланных Лелевелем: «Братья! Я не обращаюсь к вам ни с советом, ни с предостережением, потому что мы, старики, сошли с поля боя. Это ваше дело судить о нас… Готовьтесь, а когда настанет час, пусть поднимается кто может, пусть двигает наше дело. В торжественный день я обращаюсь к вам из моего убежища, на склоне дней, с чувством веры, надежды, братской любви, и, полный добрых ожиданий, я посылаю вам, братья, добрые пожелания и выражение веры в вас. Возрадуемся: Польша встает. Польша возродится».

В мае 1861 года болезнь Лелевеля быстро прогрессировала, ослабела деятельность мочевого пузыря, появилась водянка. Узнав о тяжелом положении своего старого друга, из Парижа в Брюссель приехали доктор Северин Галензовский и Евстахий Янушкевич. Они застали больного, как обычно, совершенно заброшенного; у него был пульс «как у умирающего», местный врач вел лечение ненадлежащим образом. Они заявили, что заберут Лелевеля с собой в Париж, где смогут обеспечить ему наблюдение и удобства. Больной впал в ярость, кричал: «Они явились меня мучить! Пусть идут к черту!» Тогда Галензовский посоветовал Лелевелю встать, зазвал его к себе в гостиницу, угощал вином и беседовал до вечера, а тем временем Янушкевич в спешке паковал его вещи и книжки. Когда Лелевель вернулся домой, то при этом виде он опустился на стул как подкошенный. «Позвольте мне умереть здесь», — просил он слабым голосом. Он жаловался хозяйке на своих преследователей: «Они заморочили мне голову, лишили меня свободы, забрали мои книги, теперь они могут со мной делать что им только вздумается!» На следующий день ему было предписано сделать еще несколько прощальных визитов. Брюссельские друзья, в том числе Савашкевич, были изумлены этим решением о выезде и спрашивали: зачем мучить старика и противиться его воле? Галензовский резко ответил Савашкевичу, что на него падет ответственность, если Лелевель умрет в Брюсселе из-за того, что о нем никто не заботится.

Существовала другая причина, ради которой приехавшие из Парижа так насильно стремились взять под свое покровительство и увезти умирающего старика. Главным для них было не обеспечение ему больших удобств, а скорее наблюдение за обстоятельствами его смерти. Это был акт потаенной борьбы за «душу Лелевеля».

В Европе это были времена острых политических и мировоззренческих конфликтов. Светская власть папы рушилась под ударами революционеров; городская цивилизация начала освобождать массы от влияния духовенства; новые научные открытия подрывали веру в догматы среди образованных слоев. Католическая церковь не оставалась пассивной перед лицом этих атак: она торжественно осуждала заблуждения современного мира, укрепляла дисциплину в рядах духовенства и предпринимала среди верующих небезуспешную агитацию за более строгое, чем до сих пор, соблюдение церковных предписаний. Любой повод использовался для словесных битв между защитниками и противниками церкви. Таким поводом могла стать смерть Лелевеля. Умрет ли этот великий ученый, вольнодумец и революционер так, как жил, по-мирски, или «приобщившись святых даров»? Это был не маловажный вопрос для сторонников одного и другого лагеря.

Самому Лелевелю этот вопрос, как кажется, был более или менее безразличен. Он был воспитан в католической религии, но очень давно отошел от нее, хотя не потерял веры в бога. В 1852 году он писал: «Я хотел бы, чтобы кто-нибудь доказал и разъяснил, что Христос имел целью не утверждение какой-либо религии, а насаждение братства вероисповеданий… Есть все условия для братства, только недостает братских чувств, а особенно цапаются между собой кропленые водой». В другом письме он сказал так: «Набожность прекрасна, богобоязненность желательна, но ханжество — это гнусность и заразная болезнь».

Свое отношение к церкви и священникам он определял в зависимости от их отношения к Польше и демократии. Папы признавали законность разделов Польши, искали покровительства у монархов Священного союза и публично осуждали польских революционеров. Польские епископы также относились недоброжелательно к национальным восстаниям, а в социальной области оказывали моральную поддержку имущим классам. В эмиграции был активен специальный польский монашеский орден — «воскрешенцы», они прямо осуждали как грех всякую конспиративную деятельность, всякие контакты с революционерами других стран. Почти вся церковная иерархия стала на сторону монархий божьей милостью и феодального мира. Не удивительно поэтому, что Лелевель-историк свою враждебность церкви переносил и в область прошлого. По его мнению, латинская цивилизация исказила развитие польской нации и ускорила падение гминовладства. Иезуиты в XVI веке разожгли в Польше религиозные раздоры и утвердили господство магнатской олигархии. В своих научных трудах Лелевель

неоднократно выражал свои антиклерикальные убеждения. Его всегда возмущали попытки отождествления Польши с католицизмом. Таким образом от польского народа отделяли всех граждан иного вероисповедания. «Почему это Польша должна иметь исключительное католическое призвание, почему это она должна быть исключительно католической, когда все народы в Европе были или являются католическими, а есть такие, о которых можно сказать: более католические, чем Польша», — писал он в 1849 году.

Таким образом, воюя с церковью, Лелевель, однако, разделял христианскую мораль, может быть, более убежденно, чем какой-нибудь святоша. «Мне все равно, — говорил он на склоне лет, — что пишут обо мне при жизни, а уж тем паче, что будут писать после смерти. Назовут ли меня кровопийцей, разбойником, убийцей, подстрекателем — ведь я буду вести счет не с генералом, не с ксендзами, не с моими протекторами, не с ложным мнением, а с самим собой, и не с людьми, а со всемогущим создателем».

Однако Лелевелю не было суждено удержаться в этой позиции до конца. Брюссельские католики хлопотали, чтобы публично примирить с богом этого старика. Уже упомянутая госпожа Дашкевичова привела к нему французского монаха отца Дешана, который уговаривал его, пока безуспешно, исповедаться. После смерти Лелевеля в его бумагах был найден незаконченный фрагмент завещания со следующей фразой: «Я не знаю, каков будет мой конец, буду ли я подкреплен религией или буду лишен ее утешения. Но я заявляю, что рожденный и воспитанный в римско-католической церкви, я был и остаюсь верен этой церкви по свободному выбору своей совести». Может быть, известие об интригах церковных сфер вокруг Лелевеля достигло Парижа и в связи с этим Галензовский и Янушкевич (по имеющимся сведениям, влиятельные масоны) поторопились вырвать старого ученого из-под опасного влияния.

26 мая 1861 года Лелевель сердечно попрощался с семьей своих хозяев. Уезжая, он не забыл уплатить им 30 франков за испорченный во время болезни матрац. На вокзале его провожали группа поляков и депутаты от нескольких бельгийских университетов. Поезд отошел в час дня. Лелевель успокоился и чувствовал себя лучше; при виде деревьев за окнами вагона он сказал: «Уже тринадцать лет, как я не видал леса». Вечером они приехали в Париж; на вокзале их ожидала коляска, которая отвезла больного в лечебницу доктора Дюбуа. Лелевель снова разгневался при виде элегантной спальни, красного дерева, зеркал и ковров. «Вы выбрасываете деньги в окошко!» — кричал

он, стуча палкой. В этом чуждом ему мире роскоши ему было суждено прожить только двое суток. 28 мая его состояние существенно ухудшилось. Лелевель свободно беседовал до вечера с Галензовским и Янушкевичем, поскольку никто более из поляков не был уведомлен о его приезде в Париж. Больной распорядился своими немногочисленными мелочами — палкой, часами, кольцом, табакеркой; он не забыл оставить памятки далеким варшавским племянникам.

На следующий день между шестью и семью часами утра, когда никого не было в комнате, Лелевель умер.

В своем завещании он просил друзей «не искать денег на бессмысленный расход похорон. Они найдут десяток франков, оставленных на этот случай, и этого достаточно. Мои похороны должны соответствовать моему образу жизни. Одна лошадь вполне может отвезти на место погребения тело, положенное в гроб, сбитый из четырех досок».

Как обычно бывает в подобных случаях, ближайшие друзья не соблюли этой последней воли. Была устроена торжественная панихида в церкви св. Винцентия, парадный катафалк отвез прах на Монмартрское кладбище.

Над могилой произнесли речи экономист Людвик Воловский, член Французского института, после него парижский рабочий — жестянщик Шабо и, наконец, раввин из Португалии Аструц. Этот выбор должен был символизировать науку, труд и свободу совести — три области, которым Лелевель посвятил свою жизнь. Все это показалось удивительным многим участникам похорон. Старый демократический деятель Ян Непомуцен Яновский писал Савашкевичу: «Над могилой Лелевеля никто не выступил по-польски. Это неслыханно».

Церковные круги не преминули, разумеется, попытаться внести в свой актив человека, который боролся с ними при жизни. Известный познаньский проповедник ксендз Алексий Прусиновский заявил в траурной речи, что Лелевель перед смертью просил отслужить за его душу три обедни. Было опубликовано также заявление отца Дешана, что умерший ученый читал «Отче наш» и «Богородицу» и высказывал готовность примириться с богом. Эти земные споры относительно его идейной принадлежности, несомненно, развеселили бы Лелевеля, если бы он мог еще наблюдать их на этом свете.

Смерть ученого совпала с моментом наибольшего распространения патриотических богослужений в Варшаве. Партия движения воздействовала на общественное мнение непрестанными манифестациями. Вопреки запретам полиции каждодневно то в том, то в ином костеле звучал гимн «Боже, что

Польшу». Смерть Лелевеля стала поводом для особенно торжественных демонстраций. Панихиды в его честь состоялись в нескольких католических костелах, протестантской кирке и трех синагогах. Одну обедню по собственной инициативе заказали рабочие фабрики Эванса.

Самое торжественное богослужение состоялось 10 июня в костеле Святого Креста. Огромный костел не вместил массы собравшегося народа. «Толпы заняли, — описывает очевидец, — все пространств от памятника Копернику в глубь Краковского Предместья, а новые волны наплывали со стороны Нового Свята. Была такая тишина, что в значительном отдалении от костела был слышен церковный колокольчик в момент, когда поднимали святые дары; и в такой же тишине собравшиеся разошлись после окончания панихиды». Так родной город почтил память одного из величайших своих сынов.

Памятник И. Лелевелю на кладбище в Вильнюсе. Фото 1956 г.

Основные даты жизни и деятельности Иоахима Лелевеля

1786, 22 марта — В семье чиновника Кароля Лелевеля в Варшаве родился сын Иоахим.

1804–1808 — Годы учения Иоахима Лелевеля в Виленском университете.

1807 — Выход в свет первой печатной работы Лелевеля «Эдда, или Книга религии древних жителей Скандинавии». 1809–1811 — Работа Лелевеля в Кременецком лицее.

1814 — Опубликованы «Историко-географические этюды» Лелевеля.

1815 — Опубликована «Историка» Лелевеля.

1815–1818 — Лелевель ведет курс лекций по истории в Виленском университете.

1818–1821 — Работа Лелевеля в Публичной библиотеке в Варшаве.

1820 — Лелевелем написана «Историческая параллель между Испанией и Польшей в XVI, XVII и XVIII веках».

1821 — Лелевель избран членом варшавского Общества друзей наук.

1821 — Лелевель избран ординарным профессором Виленского университета.

1822–1824 — Публикация в петербургском журнале «Северный архив» исследования Лелевеля «Рассмотрение «Истории государства Российского» г. Карамзина».

1824 — Отстранение Лелевеля от преподавания в Виленском университете в связи с раскрытием тайной студенческой организации филоматов.

1828 — Лелевель избран депутатом сейма Королевства Польского.

1829 — Первое издание «Истории Польши, изложенной популярным образом» Лелевеля.

1830, 29 ноября — Начало восстания в Варшаве.

1 декабря — Лелевель кооптирован в состав Административного совета (правительства) Королевства Польского. Учрежден Патриотический клуб, председателем его избран Лелевель.

2 декабря — Делегация Административного совета, в состав которой входит Лелевель, ведет переговоры с цесаревичем Константином Павловичем в Вежбно.

18 декабря — Созыв сейма; Лелевель пишет манифест сейма

к нации.

1831, 11–12 января — Лелевель арестован повстанческим диктатором Хлопицким.

25 января — Демонстрация в Варшаве в честь декабристов; решение сейма о низложении Николая I.

Январь — август — Лелевель в составе Национального правительства.

15 августа — Народное движение в Варшаве.

Октябрь — Лелевель переходит границу Королевства Польского; приезд в Париж.

Декабрь — Организация в Париже Национального Польского комитета под председательством Лелевеля.

1832, декабрь — Роспуск Национального комитета французскими властями, высылка Лелевеля из Парижа.

1833, март — Партизанская экспедиция Заливского.

Июль — Лелевель пишет «Мысли по поводу брошюры М. Кубракевича».

Июль — сентябрь — Высылка Лелевеля из Франции.

21 сентября — Приезд Лелевеля в Брюссель.

1834 — Основание «Молодой Польши».

1835 — Отъезд Шимона Конарского в Польшу. Выход в свет «Нумизматики средних веков» Лелевеля.

1837 — Основание Объединения польской эмиграции. Выход в свет «Польши возрождающейся» Лелевеля.

1839 — Казнь Конарского в Вильне; Лелевель организует в Брюсселе митинг в честь Конарского.

1840 — Лелевель избран в состав Комитета Объединения польской эмиграции.

1841 — Выход в свет «Нумизматических и археологических исследований» Лелевеля.

1844 — Выход в свет «Истории Польши» Лелевеля. Посещение Лелевеля Михаилом Бакуниным и Эдвардом Дембовским.

1846, 20 февраля — 3 марта — Краковское восстание.

18 марта — 7 апреля — Опубликована статья Лелевеля «Утрата сословием кметей в Польше своих гражданских прав».

11 июля — Самороспуск «Объединения польской эмиграции».

1847, сентябрь — Основание в Брюсселе Международной демократической ассоциации; Карл Маркс и Лелевель — вице-председатели ассоциации.

1848, 22 февраля — Международный митинг в Брюсселе в честь Краковского восстания 1846 года, речи Маркса, Энгельса и Лелевеля.

28 февраля — принятие руководством Международной

демократической ассоциации приветственного адреса правительству Французской республики.

1849–1857 — Публикация «Географии средних веков» Лелевеля. 1855, 6 августа — Письмо Лелевеля А. И. Герцену, приветствующее деятельность Вольной русской типографии в Лондоне.

1855 — Выход в свет «Размышлений над историей Польши и ее народа» Лелевеля.

1857 — Выход в свет первого тома сочинений Лелевеля («Польша, ее история и проблемы»), опубликование «Приключений в поисках и исследованиях польских национальных проблем».

1860 — Обмен письмами между Марксом и Лелевелем.

1860 — Посещение Лелевеля Зыгмунтом Сераковским.

1861, 26 мая — Отъезд Лелевеля из Брюсселя в Париж.

29 мая — Смерть Лелевеля в Париже.

Краткая библиография

Библиография публикаций трудов Лелевеля до 1952 года («Bibliografia utworów Joachima Lelewela», Wrocław, 1952), составлена Х. Хлеб-Кошаньской и М. Котович.

Произведения Лелевеля

Издание произведений Лелевеля, предпринятое Я. К. Жупаньским, не было завершено: в серии «Polska, dzieje i rzeczy jej» были опубликованы тт. 1—13, 16–20 (Poznań, 1858–1868).

С 1957 года Институт истории Польской академии наук предпринял новое издание сочинений Лелевеля («Dzieła»). До 1970 года вышли следующие тома этого издания:

Т. I. Materiały autobiograficzne (Автобиографические материалы). Warszawa, 1957.

Т. II. Pisma metodologiczne (Труды методологического характера). Warszawa, 1964.

Т. III. Wykfady kursowe z historii powszechnej w Uniwersytecie Wileńskim 1822–1824 (Курсы лекций по всеобщей истории в Виленском университете 1822–1824). Warszawa, 1959.

Т. IV. Dzieje starożytne (Древняя история). Warszawa, 1966.

Т. VI. Historia polska do końca panowania Stefana Batorego (Польская история до окончания царствования Стефана Батория). Warszawa, 1962.

Т. VII. Dzieje Polski potocznym sposobem opowiedziane (История Польши в популярном изложении). Warszawa, 1961.

Т. VIII. Historia Polski nowożytnej (История Польши в новое время). Warszawa, 1961.

Т. X. Dzieje Litwy i Rusi (История Литвы и Украины). Warszawa, 1969.

Избранные политические произведения («Wybór pism politycznych», Warszawa, 1954) включают речи, воззвания, декларации политическую корреспонденцию Лелевеля.

Двухтомное издание переписки Иоахима Лелевеля с родными («Listy do rodzeństwa») осуществлено Я. К. Жупаньским (Poznań, 1878–1879). Свод корреспонденции Лелевеля в 1831–1861 гг. («Listy emigracyjne», t. I–V i indeks) издан Х. Венцковской (Wrocław — Kraków, 1948–1956).

На русском языке произведения Лелевеля см. второй том

«Избранных произведений прогрессивных польских мыслителей» (М., Госполитиздат, 1956, стр. 135–242). Здесь опубликованы:

1. Каким надлежит быть историку?

2. Рассмотрение «Истории государства Российского» г. Карамзина (фрагменты).

3. Утрата сословием кметей в Польше своих гражданских прав.

4. Падение Болеслава Смелого или Щедрого (фрагменты).

5. Размышления над историей Польши и ее народа (фрагменты).

6. Воззвание к русским (1832).

7. Речь 29 ноября 1838 г. (фрагмент).

8. Речь о Шимоне Конарском (1839 г.).

9. Речь 29 ноября 1839 г. (фрагмент).

10. Польский Национальный комитет к народу Великобритании (1844 г.).

11. Речь 22 февраля 1848 г.

В третьем томе этого же издания (М., Соцэкгиз, 1958, стр. 606–607) опубликовано письмо Лелевеля А. И. Герцену от 6 августа 1855 года.

Впервые на русском языке произведение Лелевеля появилось в 1821 году в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения» (ч. 14, кн. 2, стр. 146–171) — это была статья «Известие о древнейших историках польских и в особенности о Кадлубке, в опровержение Шлецера».

В 1822–1824 годах в журнале «Северный архив» опубликовано «Рассмотрение «Истории государства Российского» г. Карамзина» (1822, № 4, стр. 408–434, 1823, № 4, стр. 52–80, 147–160, 287–297, 1824, Nb 9, стр. 41–57, 91—103, 163–172, № 11, стр. 132–143, 187–195, № 12, стр. 47–53; публикация не закончена).

В 1862 году были изданы «Краткие очерки по истории польского народа» (Спб., 228 стр.).

В 1863 году — «Польша и Испания, историческая между ними параллель в XVI, XVII и XVIII столетиях» (М., 58 стр.).

Маркс и Энгельс о Лелевеле

К. Маркс и Ф. Энгельс, О польском вопросе. Речи на торжественном собрании в Брюсселе, посвященном 2-й годовщине Краковского восстания 1846 г., 22 февраля 1848 года. Речь Энгельса. Соч., изд. 2-е, т. 4, стр. 492.

Ф. Энгельс, Дебаты по польскому вопросу во Франкфурте. Соч., т. 5, стр. 352, 381.

Ф. Энгельс, Венгрия. Соч., т. 6, стр. 559.

К. Маркс, Мадзини и Наполеон. Соч., т. 12, стр. 435.

К. Маркс, Господин Фогт. Соч., т. 14, стр. 628–629, 685.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Митингу в Женеве, созванному в память 50-й годовщины польской революции 1830 года. Соч., т. 19, стр. 248.

К. Маркс, Письмо И. Лелевелю. 3 февраля 1860 г. Соч., т. 30, стр. 360–361.

К. Маркс, Письмо И. Ф. Беккеру. 9 апреля 1860 г. Соч., т. 30, стр. 434.

А. И. Герцен о Лелевеле

Былое и думы. Соч. в 30 томах, т. XI, стр. 147, т. XII, стр. 454. И. Лелевель и казематы. Соч., т. XIV, стр. 85.

О смерти Лелевеля. Соч., т. XV, стр. III.

Литература о Лелевеле на русском языке

А. М. Басевич, Иоахим Лелевель — польский революционер, демократ, ученый (1786–1861). М., Соцэкгиз, 1961, 192 стр.

А. М. Басевич, Иоахим Лелевель накануне и в период польского восстания 1830–1831 гг. «Ученые записки Марийского гос. педагогического института», т. 21, Йошкар-Ола, 1958, стр. 244–290.

А. М. Басевич, Иоахим Лелевель как исследователь. «Вопросы истории», 1961, № 5, стр. 174–180.

Б. С. Попков, Иоахим Лелевель и русские ученые (Новые материалы из советских архивов). «Славянский архив». М., АН СССР, 1963, стр. 215–227.

Б. С. Попков, Иоахим Лелевель в оценке современной польской историографии. «Из истории революционного движения польского народа» («Краткие сообщения Института славяноведения», вып. 42). М., «Наука», 1964, стр. 69–82.

Б. С. Попков, Историческая концепция Иоахима Лелевеля в оценке польской шляхетско-буржуазной историографии.

«Славянское источниковедение». Сб. статей и материалов. М., «Наука», 1965, стр. 16–35.

Б. С. Попков, Польские современники о политической деятельности Иоахима Лелевеля в эмиграции. «История и культура славянских народов. Польское освободительное движение XIX–XX вв. и проблемы истории культуры». М., «Наука», 1966, стр. 150–164.

Б. С. Попков, Иоахим Лелевель о России и русском революционном движении в первой половине XIX века. «Советское славяноведение» (Материалы IV конференции историков-славистов). Минск, Изд. БГУ им. В. И Ленина, 1969, стр. 453–461.

Б. С. Попков, Иоахим Лелевель о национально-освободительной борьбе польского народа и путях возрождения Польши. «Развитие капитализма и национальные движения в славянских странах». М., «Наука», 1970, стр. 272–290.

Б. С. Попков, К. Маркс, Ф. Энгельс и И. Лелевель: «Вопросы истории». Сб. статей (Ученые записки Петрозаводского гос. университета им. О. В Куусинена). Петрозаводск, 1970, стр. 3–9.

notes

1

Пропинация — феодальное монопольное право помещика производить и продавать спиртные напитки. Польские помещики нередко устанавливали для зависимых крестьян принудительную норму покупки водки.

2

Даремщины и толоки — сверхнормативные феодальные повинности, связанные чаще всего со сгоном крестьян, уже отработавших барщину, на дополнительную работу на панском поле в страдную пору.